

Иосиф Бродский Fondamenta degli incurabili (Набережная Неисцелимых)

Аннотация

Венецианское эссе Иосифа Бродского "Набережная Неисцелимых" (или "Watermark") написано автором по-английски.

Джон Андайк писал об эссе "Набережная Неисцелимых": "[Оно] восхищает тонким приемом возгонки, с помощью которого из жизненного опыта добывается драгоценный смысл. Эссе "Набережная неисцелимых" – это попытка превратить точку на глобусе в окно и мир универсальных переживаний, частный опыт хронического венецианского туриста – в кристалл, чьи грани отражали бы всю полноту жизни... Основным источником исходящего от этих граней света является чистая красота".

Иосиф Бродский Fondamenta degli incurabili (Набережная Неисцелимых)

Роберту Моргану

1.

Много лун тому назад доллар равнялся 870 лирам, и мне было 32 года. Планета тоже весила на два миллиарда душ меньше, и бар той Стаццоне, куда я прибыл холодной декабрьской ночью, был пуст. Я стоял и поджидал единственное человеческое существо, которое знал в этом городе. Она сильно опаздывала.

Всякий путешественник знает этот расклад: эту смесь усталости и тревоги. Когда разглядываешь циферблаты и расписания, когда изучаешь венозный мрамор под ногами, вдыхая карболку и тусклый запах, источаемый в холодную зимнюю ночь чугунным локомотивом. Чем я и занялся.

Кроме зевающего буфетчика и неподвижной, похожей на Будду, матроны у кассы, не видно было ни души. Толку, впрочем, нам друг от друга было мало: весь запас их языка – слово «espresso» – я уже истратил; я воспользовался им дважды. Еще я купил у них первую пачку того, чему в предстоящие годы суждено было означать «Merda Statale», «Movimento Sociale» и «Morte Sicura»¹ – первую пачку MS². Так что я подхватил чемоданы и шагнул наружу.

2.

Ночь была ветреной, и прежде чем включилась сетчатка, меня охватило чувство абсолютного счастья: в ноздри ударил его всегдашний – для меня – синоним: запах мерзнущих водорослей. Для одних это свежескошенная трава или сено; для других –

¹ [1] «Государственное дерьмо», «Общественное движение», «Верная смерть» (ит.).

² [2] Сорт итальянских сигарет.

рождественская хвоя с мандаринами. Для меня – мерзлые водоросли: отчасти из-за звукоподражательных свойств самого названия, в котором сошлись растительный и подводный мир, отчасти из-за намека на несовместимость и тайную подводную драму содержащегося в понятии. «Где камень темнеет под пеной», как сказал поэт. В некоторых стихиях опознаешь себя; к моменту втягивания этого запаха на ступенях Стасьоне я был уже большим специалистом по несовместимости и тайным драмам.

Привязанность к этому запаху следовало, вне всяких сомнений, приписать детству на берегах Балтики, в отечестве странствующей сирены из стихотворения Монтале. У меня, однако, были сомнения. Хотя бы потому, что детство было не столь уж счастливым (и редко бывает, являясь школой беззащитности и отвращения к самому себе, а что до моря, то ускользнуть из моей части Балтики действительно мог только угорь). В любом случае, на предмет ностальгии оно тянуло с трудом. Я всегда знал, что источник этой привязанности где-то не здесь, но вне рамок биографии, вне генетического склада, где-то в мозжечке, среди прочих воспоминаний о наших хордовых предках, на худой конец – о той самой рыбе, из которой возникла наша цивилизация. Была ли рыба счастлива, другой вопрос.

3.

В конце концов, запах есть нарушение кислородного баланса, вторжение в него иных элементов – метана? углерода? серы? азота? В зависимости от объема вторжения получаем привкус – запах – вонь. Это все дело молекул, и, похоже, счастье есть миг, когда сталкиваешься с элементами твоего собственного состава в свободном состоянии. Тут их, абсолютно свободных, хватало, и я почувствовал, что шагнул в собственный портрет, выполненный из холодного воздуха.

Весь задник был в темных силуэтах куполов и кровель; мост нависал над черным изгибом водной массы, оба конца которой обрезала бесконечность. Ночью в незнакомых краях бесконечность начинается с последнего фонаря, и здесь он был в двадцати метрах. Было очень тихо. Время от времени тускло освещенные моторки проползали в ту или другую сторону, дробя винтами отражение огромного неоновое Cinzano, пытавшегося снова расположиться на черной клеенке воды. Тишина возвращалась гораздо раньше, чем ему это удавалось.

4.

Все отдавало приездом в провинцию – в какое-нибудь незнакомое, захолустное место – возможно, к себе на родину, после многолетнего отсутствия. Не в последнюю очередь это объяснялось моей анонимностью, неуместностью одинокой фигуры на ступенях Стасьоне: хорошей мишенью забвения. К тому же была зимняя ночь. И я вспомнил первую строчку стихотворения Умберто Сабы, которое когда-то давно, в предыдущем воплощении, переводил на русский: «В глубине Адриатики дикой...». В глубине, думал я, в глуши, в забытом углу дикой Адриатики... Стоило лишь оглянуться, чтобы увидеть Стасьоне во всем ее прямоугольном блеске неона и изысканности, чтобы увидеть печатные буквы: VENEZIA. Но я не оглядывался. Небо было полно зимних звезд, как часто бывает в провинции. Казалось, в любую минуту вдали мог залаять пес, не исключался и петух. Закрыв глаза, я представил себе пучок холодных водорослей, распластанный на мокром, возможно – обледеневшем камне где-то во вселенной, безразличный к тому – где. Камнем был как бы я, пучком водорослей – моя левая кисть. Затем ниоткуда возникла широкая крытая баржа, помесь консервной банки и бутерброда, и глухо ткнулась в причал Стасьоне. Горстка пассажиров выбежала на берег и устремилась мимо меня к станции. Тут я увидел единственное человеческое существо, которое знал в этом городе; картина была сказочная.

5.

Впервые я ее увидел несколько лет назад, в том самом предыдущем воплощении: в России. Тогда картина явилась в облике славистки, точнее, специалистки по Маяковскому. Последнее чуть не зачеркнуло картину как объект интереса в глазах моей компании. Что этого не случилось, было мерой ее обозримых достоинств. 180 см, тонкокостная, длинноногая, узколицая, с каштановой гривой и карими миндалевидными глазами, с приличным русским на фантастических очертаниях уст и с ослепительной улыбкой там же, в потрясающей, плотности папиросной бумаги, замше и чулках в тон, гипнотически благоухая незнакомыми духами, – картина была, бесспорно, самым элегантным существом женского пола, сумасводящая нога которого когда-либо ступала в наш круг. Она была сделана из того, что увлажняет сны женатого человека. Кроме того, венецианкой.

Так что мы легко переварили ее членство в итальянской компартии и попутную слабость к нашим несмышленным авангардистам тридцатых, списав это на западное легкомыслие. Думаю, будь она ярой нацисткой, мы алкали бы ее не меньше; возможно, даже больше. Она была действительно сногшибательной, и когда в результате спуталась с высокооплачиваемым недоумком армянских кровей на периферии нашего круга, общей реакцией были скорее изумление и гнев, нежели ревность или стиснутые зубы, хотя, в сущности, не стоило гневаться на тонкое кружево, замаранное острым национальным соусом. Мы, однако, гневались. Ибо это было хуже, чем разочарование: это было предательством ткани.

В те дни мы отождествляли стиль с сущностью, красоту с интеллектом. Все-таки мы были публикой книжной, а в известном возрасте, веря в литературу, предполагаешь, что все разделяют или должны разделять твои вкусы и пристрастия. Поэтому если кто-то хорошо смотрится, то он свой. Незатронутые внешним миром, особенно западным, мы не знали, что стиль продается оптом, что красота бывает просто товаром. Поэтому мы считали картину физическим продолжением и воплощением наших идеалов и принципов, а всю ее одежду, включая прозрачные вещи, – достоянием цивилизации.

Отождествление это было таким прочным, а картина такой хорошенькой, что даже теперь, годы спустя, вступив в другой возраст и, так сказать, в другую страну, я невольно взял былую манеру. Притиснутый толпой на палубе вапоретто³ к ее шубе изнутри, я первым делом спросил, что она думает о только что вышедших «Мотетах» Монтале. Знакомое сверкание двадцати восьми жемчужин, повторенное на ободке карего зрачка и продленное до рассыпного серебра Млечного Пути, – вот и все, что я получил в ответ, но и это было не мало. Возможно, находясь в самом сердце цивилизации, спрашивать о ее последних достижениях было тавтологией. Возможно, я просто допустил бестактность, поскольку автор не был местным.

6.

Медленное движение лодки сквозь ночь напоминало проход связной мысли сквозь бессознательное. По обе стороны, по колено в черной как смоль воде, стояли огромные резные сундуки темных палаццо, полные непостижимых сокровищ – скорее всего, золота, судя по желтому электрическому сиянию слабого накала, пробивавшемуся сквозь щели в ставнях. Общее впечатление было мифологическим, точнее – циклопическим: я попал в ту бесконечность, которую воображал на ступенях Стациона, и теперь двигался мимо ее обитателей, вдоль шеренги спящих циклопов, возлежавших в черной воде, время от времени подымая и опуская веко.

Рядом со мной картина в нутрии объясняла почти шепотом, что везет меня в отель, где сняла мне номер, что, наверно, мы увидимся завтра или послезавтра, что она хотела бы

³ [3] Катер (ит.).

познакомить меня с мужем и сестрой. Мне нравился ее шепот, хотя он гармонировал скорее с темнотой, чем с самим сообщением, и я ответил таким же заговорщическим голосом, что всегда приятно повидать вероятных родственников. Тут я несколько пережал, но она засмеялась, так же вполголоса, приложив к губам руку в перчатке коричневой кожи. Пассажиры вокруг, брюнеты по преимуществу, обусловив своим количеством нашу близость, не шевелились и если переговаривались, то на тех же пониженных тонах, словно тоже о предметах интимного свойства. Затем небо на мгновение затмила гигантская мраморная скобка моста, и вдруг все залил свет. «Риальто», – сказала она нормальным голосом.

7.

В путешествии по воде, даже на короткие расстояния, есть что-то первобытное. Что ты там, где тебе быть не положено, тебе сообщают не столько твои глаза, уши, нос, язык, пальцы, сколько ноги, которым не по себе в роли органа чувств. Вода ставит под сомнение принцип горизонтальности, особенно ночью, когда ее поверхность похожа на мостовую. Сколь бы прочна ни была замена последней – палуба – у тебя под ногами, на воде ты бдительней, чем на берегу, чувства в большей готовности. На воде, скажем, нельзя забыть, как бывает на улице: ноги все время держат тебя и твой рассудок начеку, в равновесии, точно ты род компаса. Что ж, может, та чуткость, которую приобретает твой ум на воде, – это на самом деле дальнее, окольное эхо почтенных хордовых. Во всяком случае, на воде твое восприятие другого человека обостряется, словно усиленное общей – и взаимной – опасностью. Потеря курса есть категория психологии не меньше, чем навигации. Как бы то ни было, в следующие десять минут, хоть мы и двигались в одном направлении, я увидел, что стрелка единственного человеческого существа, которое я знал в этом городе, и моя разошлись самое меньшее на сорок пять градусов. Вероятнее всего потому, что эта часть Канале Гранде лучше освещена.

Мы высадились на пристани Академия, попав в плен твердой топографии и соответствующего морального кодекса. После недолгих блужданий по узким переулкам меня доставили в вестибюль одноименного, удалившегося от мира пансиона, поцеловали в щеку – скорее как Минотавра, мне показалось, чем как доблестного героя – и пожелали спокойной ночи. Затем моя Ариадна удалилась, оставив за собой благовонную нить дорогих (не «Шалимар» ли?) духов, быстро растаявшую в затхлой атмосфере пансиона, пропитанной слабым, но вездесущим запахом мочи. Пару минут я разглядывал мебель. Потом завалился спать.

8.

Таким был мой первый приезд сюда. Ни дурным, ни благим предзнаменованием он не оказался. Если та ночь что и напорошила, то лишь то, что обладателем этого города я не стану никогда; но таких надежд я и не питал. В качестве начала, я думаю, этот эпизод сойдет, правда, в моем знакомстве с единственным человеческим существом, которое я знал в этом городе, он, скорее, означал конец.

В тот раз я видел ее еще дважды или трижды; и действительно был представлен сестре и мужу. Первая оказалась очаровательной женщиной: высокая и стройная, как моя Ариадна, и, может быть, даже ярче, но меланхоличнее и, насколько могу судить, еще замужнее. Второй, чья внешность совершенно выпала у меня из памяти по причине избыточности, был архитектурной сволочью из той жуткой послевоенной секты, которая испортила очертания Европы сильнее всякого Люфтваффе. В Венеции он осквернил пару чудесных кампо ⁴

⁴ [4] Поле (ит.), площадь.

своими сооружениями, одним из которых был, естественно, банк, ибо этот разряд животных любит банки с абсолютно нарциссистским пылом, со всей тягой следствия к причине. За одну эту «структуру» (как в те дни выражались) он, по-моему, заслужил рога. Но поскольку, как и его жена, он вроде бы состоял в компартии, то задачу, решил я, лучше всего возложить на товарищей. Разборчивость, с одной стороны; а с другой, когда в один мрачный вечер я позвонил из глубин моего лабиринта единственному человеческому существу, которое знал в этом городе, архитектор, почуяв, видимо, что-то не то в моем ломаном итальянском, оборвал нить связи. Так что дело было за нашими красноармянскими братьями.

9.

Мне говорили, что потом она развелась с архитектором и вышла за пилота американских ВВС, который оказался племянником мэра городка в великом штате Мичиган, где я когда-то жил. Маленький мир, и чем дольше живешь, тем он меньше. Так что ищи я утешенья, я мог бы извлечь его из мысли, что теперь мы топчем одну землю – уже другого материка. Похоже, конечно, на отношение Стация к Вергилию, но это как раз укладывается в привычку таких, как я, видеть в Америке род Чистилища, на что, впрочем, намекает и сам Данте. Единственная с ней разница, что ее небеса обжиты намного лучше моих. Отсюда мои налеты в мой вариант рая, куда она так любезно меня ввела. Во всяком случае, за последние семнадцать лет я возвращался в этот город, или повторялся в нем, с частотой дурного сна.

10.

За двумя или тремя исключениями из-за моих или чьих-то еще сердечных приступов и подобных происшествий, каждое Рождество или накануне я сходил с поезда / самолета / парохода / автобуса и тащил чемоданы, набитые книгами и пишущими машинками, к порогу того или иного отеля, той или иной квартиры. Последнюю, как правило, предоставлял кто-то из немногочисленных друзей, которыми я успел здесь обзавестись вслед за тем, как картина померкла. Позже я попробую объяснить выбор сроков (хотя такое намерение тавтологично вплоть до перехода в собственную противоположность). Сейчас же замечу только, что хоть я и северянин, мое представление о рае не определяется ни климатом, ни температурой. Я бы, кстати, охотно обошелся и без его жителей, и без вечности в придачу. Рискуя навлечь обвинения в безнравственности, признаю, что это представление чисто зрительное, идущее скорее от Клода, чем от кредо, и существующее только в приближениях. Лучшее из которых – этот город. Поскольку я не уполномочен выяснять, как дело выглядит с другой стороны, то могу этим городом и ограничиться.

Говорю это сразу, чтобы избавить читателя от разочарований. Я не праведник (хотя стараюсь не выводить совесть из равновесия) и не мудрец; не эстет и не философ. Я просто нервный, в силу обстоятельств и собственных поступков, но наблюдательный человек. Как сказал однажды мой любимый Акутагава Рюноске, у меня нет принципов, у меня есть только нервы. Поэтому нижеследующее связано скорее с глазом, чем с убеждениями, включая и те, которые касаются композиции рассказа. Глаз предшествует перу, и я не дам второму лгать о перемещениях первого. Не испугавшись обвинений в безнравственности, я легко снесу упреки в поверхностности. Поверхность – то есть первое, что замечает глаз, – часто красноречивее своего содержимого, которое временно по определению, не считая, разумеется, загробной жизни. Изучая лицо этого города семнадцать зим, я, наверно, сумею сделать правдоподобную пуссеновскую вещь: нарисовать портрет этого места если и не в четыре времени года, то в четыре времени зимнего дня.

Такова моя цель. Если я отклонюсь, то здесь это прием, буквально заезженный гондолами и вторящий воде. Иными словами, предстоящее может оказаться не рассказом, а разливом мутной воды «не в то время года». Иногда она синяя, иногда серая или коричневая; неизменно холодная и непьющая. Я взялся ее процеживать потому, что она содержит

отражения, в том числе и мое.

11.

Безжизненные по природе, гостиничные зеркала потускнели еще сильнее, повидав столь многих. Они возвращают тебе не тебя самого, а твою анонимность, особенно в этом городе. Ибо здесь ты сам – последнее, что хочется видеть. В первые приезды сюда я часто удивлялся, застав мою собственную фигуру, одетую или голую, в двери открытого гардероба; немного спустя я задумался над райским или загробным воздействием этого места на самосознание человека. Одно время я даже развивал теорию чрезмерной избыточности: теорию зеркала, поглощающего тело, поглощающего город. В результате, естественно, получаем взаимное отрицание. Отражению нет никакого дела до отражения. Город достаточно нарциссичен, чтобы превратить твой рассудок в амальгаму и облегчить его, избавив от значений. Сходно влияя на кошелек, отели и пансионы здесь выглядят очень уместно. После двухнедельного пребывания – даже по ценам несезона – ты, как буддийский монах или христианский святой, избавлен и от денег и от себя. В определенном возрасте и при определенных занятиях последнее всегда кстати, если не сказать обязательно.

Теперь обо всем этом, конечно, и речи нет, поскольку здешние умники закрывают на зиму две трети таких местечек; а оставшаяся треть круглый год поддерживает летние цены, от которых бросает в дрожь. Если повезет, можно отыскать квартиру, которая, естественно, сдается вместе с личными вкусами хозяина по части картин, стульев, занавесок и с легким оттенком нелегальности на лице, которое видишь в зеркале над умывальником. Иначе говоря, именно с тем, от чего ты хотел избавиться: с самим собой. Все же зима абстрактное время года: бедное красками, даже в Италии, и щедрое на императивы холода и короткого светового дня. Эти вещи настраивают глаз на внешний мир с энергией большей, чем у электрической лампочки, которая снабжает тебя по вечерам чертами лица. Если это время года и не всегда умиряет нервы, оно все-таки подчиняет их инстинктам: красота при низких температурах – настоящая красота.

12.

В любом случае, летом бы я сюда не приехал и под дулом пистолета. Я плохо переношу жару; выбросы моторов и подмышек – еще хуже. Стада в шортах, особенно ржущие по-немецки, тоже действуют на нервы из-за неполноценности их анатомии по сравнению с колоннами, пилястрами и статуями, из-за того, что их подвижность и все, в чем она выражается, противопоставляют мраморной статике. Я, похоже, из тех, кто предпочитает текучести выбор, а камень – всегда выбор. Независимо от достоинств телосложения, в этом городе, на мой взгляд, тело стоит прикрывать одеждой – хотя бы потому, что оно движется. Возможно, одежда есть единственное доступное нам приближение к выбору, сделанному мрамором.

Взгляд, видимо, крайний, но я северянин. В абстрактное время года жизнь даже на Адриатике кажется реальнее, чем в любое другое, так как зимой все тверже, жестче. Если угодно, считайте это пропагандой в пользу венецианских лавок, чьи дела идут оживленнее при низких температурах. Отчасти потому, что зимою нужно больше одежды, чтобы согреться, не говоря уже об атавистической тяге к смене меха. Правда, ни один турист не явится сюда без лишнего свитера, жилета, рубашки, штанов, блузки, поскольку Венеция из тех городов, где и чужак и местный заранее знают, что они экспонаты.

Из чего вытекает, что в Венеции двуногие сходят с ума, покупая и меняя наряды по причинам не вполне практическим; их подначивает сам город. Все мы таим всевозможные тревоги относительно изъянов нашей внешности и несовершенства наших черт. Все, что в этом городе видишь на каждом шагу, повороте, в перспективе и тупике, усугубляет твою озабоченность и комплексы. Вот почему люди, только попав сюда – в первую очередь

женщины, но мужчины тоже, – оголтело атакуют прилавки. Окружающая красота такова, что почти сразу возникает по-звериному смутное желание не отставать, держаться на уровне. Это не имеет ничего общего с тщеславием или с естественным здесь избытком зеркал, из которых главное – сама вода. Дело просто в том, что город дает двуногим представление о внешнем превосходстве, которого нет в их природных берлогах, в привычной им среде. Вот почему здесь нарасхват меха, наравне с замшей, шелком, льном, хлопком, любой тканью. Дома человек растерянно глядит на покупки, прекрасно понимая, что в родных местах щеголять ими негде, не рискуя шокировать сограждан. Приходится им увядать в гардеробе или переходить к родным помоложе. Я, скажем, помню, как купил здесь несколько вещей – само собой, в кредит, – которые потом надеть не было ни духа, ни охоты. В том числе два плаща, один горчичный, другой светлого хаки. Теперь они украшают плечи лучшего танцовщика мира и лучшего поэта английского языка, хоть и ростом и возрастом оба от меня отличаются. Это все – действие здешних видов и перспектив, ибо в этом городе человек – скорее силуэт, чем набор неповторимых черт, а силуэт поддается исправлению. Толкают к щегольству и мраморные кружева, мозаики, капители, карнизы, рельефы, лепнина, обитаемые и необитаемые ниши, статуи святые и снятые, девы, ангелы, херувимы, кариатиды, фронтоны, балконы, оголенные икры балконных балясин, сами окна, готические и мавританские. Ибо это город для глаз; остальные чувства играют еле слышную вторую скрипку. Одного того, как оттенки и ритм местных фасадов заискивают перед изменчивой мастью и узором волн, хватит, чтобы ринуться за модным шарфом, галстуком и чем угодно; чтобы даже холостяка-ветерана приклеить к витрине с броскими нарядами, не говоря уже о лакированных и замшевых туфлях, раскиданных, точно лодки всех видов по Лагуне. Ваш глаз как-то догадывается, что все эти вещи выкроены из той же ткани, что и виды снаружи, и не обращает внимания на свидетельство ярлыков. И в конечном счете глаз не так уж неправ, хотя бы потому, что здесь у всего общая цель – быть замеченным. А в счете самом окончательном, этот город есть настоящий триумф хордовых, поскольку глаза, наш единственный сырой, рыбоподобный орган, здесь в самом деле купаются: они мечутся, разбегаются, закатываются, шныряют. Их голый студень с атавистической негой покоится на отраженных палаццо, «шпильках», гондолах и т. д., опознавая самих себя в стихии, вынесшей отражения на поверхность бытия.

13.

Зимой в этом городе, особенно по воскресеньям, просыпаешься под звон бесчисленных колоколов, точно за кисеей позвякивает на серебряном подносе гигантский чайный сервиз в жемчужном небе. Распахиваешь окно, и комнату вмиг затопляет та уличная, наполненная колокольным гулом дымка, которая частью сырой кислород, частью кофе и молитвы. Неважно, какие таблетки и сколько надо проглотить в это утро, – ты понимаешь, что не все кончено. Неважно и насколько ты автономен, сколько раз тебя предавали, насколько досконально и удручающе твое представление о себе, – тут допускаешь, что еще есть надежда, по меньшей мере – будущее. (Надежда, сказал Фрэнсис Бэкон, хороший завтрак, но плохой ужин.) Источник этого оптимизма – дымка; ее молитвенная часть, особенно если время завтрака. В такие дни город действительно приобретает фарфоровый вид, оцинкованные купола и без того сродни чайникам или опрокинутым чашкам, а наклонные профили колоколен звенят, как забытые ложки, и тают в небе. Не говоря уже о чайках и голубях, то сгущающихся, то тающих в воздухе. При всей пригодности этого места для медовых месяцев, я часто думал, не испробовать ли его и для разводов – как для тянущихся, так и для завершенных? На этом фоне меркнет любой разрыв; никакой эгоист, прав он или неправ, не сумеет долго блистать в этих фарфоровых декорациях у хрустальной воды, ибо они затмят чью угодно игру. Я знаю, что вышепредложенное может весьма неприятно отразиться на ценах, даже зимой. Но люди любят свои мелодрамы больше, чем архитектуру, и беспокоиться мне не о чем. Странно, что красота ценится ниже психологии, но пока это

так, этот город мне по карману – то есть до самой смерти, возможно, и после.

14.

По профессии, или, скорее, по кумулятивному эффекту многолетних занятий, я писатель; по способу зарабатывать – преподаватель, учитель. Зимние каникулы в моем университете – пять недель, что отчасти объясняет сроки моих паломничеств – но лишь отчасти. У рая и каникул то общее, что за них надо платить и монетой служит твоя прежняя жизнь. Мой роман с этим городом – с этим городом именно в это время года – начался давно, задолго до того, как я обзавелся умениями, имеющими спрос, и смог позволить себе эту страсть.

Примерно в 1966 году – мне было тогда 26 – один друг дал мне почитать три коротких романа французского писателя Анри де Ренье, переведенные на русский замечательным русским поэтом Михаилом Кузминым. В тот момент я знал о Ренье только, что он один из последних парнасцев, поэт неплохой, но ничего особенного. О Кузмине – кое-что из «Александрийских песен» и «Глиняных голубок» и славу великого эстета, рьяного православного и откровенного гомосексуалиста – по-моему, в таком порядке.

Мне достались эти романы, когда автор и переводчик были давно мертвы. Книжки тоже дышали на ладан: бумажные издания конца тридцатых, практически без переплетов, рассыпа'лись в руках. Не помню ни заглавий, ни издательства; сюжетов, честно говоря, тоже. Почему-то осталось впечатление, что один назывался «Провинциальных забавы», но не уверен. Конечно, можно бы уточнить, но одолживший их друг умер год назад; и я проверять не буду.

Они были помесью плутовского и детективного романа, и действие, по крайней мере одного, который я про себя зову «Провинциальные забавы», проходило в зимней Венеции. Атмосфера сумеречная и тревожная, топография, осложненная зеркалами; главные события имели место по ту сторону амальгамы, в каком-то заброшенном палаццо. Подобно многим книгам двадцатых, роман был довольно короткий – страниц 200, не больше – и в бодром темпе. Тема обычная: любовь и измена. Самое главное: книга была написана короткими – длиной в страницу или полторы – главами. Их темп отдавал сырыми, холодными, узкими улицами, по которым вечером спешишь с нарастающей тревогой, сворачивая налево, направо. Человек, родившийся там, где я, легко узнавал в городе, возникавшем на этих страницах, Петербург, продленный в места с лучшей историей, не говоря уже о широте. Но важнее всего в том впечатлительном возрасте, когда я наткнулся на роман, был преподанный им решающий урок композиции, то есть: качество рассказа зависит не от сюжета, а от того, что за чем идет. Я бессознательно связал этот принцип с Венецией. Если читатель теперь мучается, причина в этом.

15.

Потом другой друг, еще здравствующий, принес растрепанный номер журнала «Лайф» с потрясающим цветным снимком Сан-Марко в снегу. Немного спустя девушка, за которой я ухаживал, подарила на день рождения набор открыток с рисунками сепией, сложенный гармошкой, который ее бабушка вывезла из дореволюционного медового месяца в Венеции, и я корпел над ними с лупой. Потом моя мать достала бог знает откуда квадратик дешевого гобелена, просто лоскут с вышитым Palazzo Ducale, прикрывший валик на моем диване – сократив тем самым историю Республики до моих габаритов. Запишите сюда же маленькую медную гондолу, которую отец купил в Китае во время службы и которую родители держали на трюмо, заполняя разрозненными пуговицами, иголками, марками и – по нарастающей – таблетками и ампулами. Потом друг, давший романы Ренье и умерший год назад, взял меня на полуофициальный просмотр контрабандной и потому черно-белой копии «Смерти в Венеции» Висконти с Дирком Богартом. Увы, фильм оказался не первый сорт, да и от самой

новеллы я был не в восторге. И все равно, долгий начальный эпизод с Богартом в парходном шезлонге заставил меня забыть о мешающих титрах и пожалеть, что у меня нет смертельной болезни; даже сегодня я могу пожалеть об этом.

Потом возникла венецианка. Стало казаться, что город понемногу вползает в фокус. Он был черно-белым, как и пристало выходцу из литературы или зимы; аристократический, темноватый, холодный, плохо освещенный, где слышен струнный гул Вивальди и Керубини на заднем плане, где вместо облаков женская плоть в драпировках от Беллини / Тьеполо / Тициана. И я поклялся, что если смогу выбраться из родной империи, то первым делом поеду в Венецию, сниму комнату на первом этаже какого-нибудь палаццо, чтобы волны от проходящих лодок плескали в окно, напишу пару элегий, туша сигареты о сырой каменный пол, буду кашлять и пить и на исходе денег вместо билета на поезд куплю маленький браунинг и не сходя с места вышибу себе мозги, не сумею умереть в Венеции от естественных причин.

16.

Мечта, конечно, абсолютно декадентская, но в 28 лет человек с мозгами всегда немножко декадент. Кроме того, план не был выполним ни в одной своей части. Так что когда тридцати двух лет от роду я оказался в недрах другого континента, посреди Америки, то первую университетскую получку истратил на осуществление лучшей части моей мечты и купил билет туда-обратно Детройт – Милан – Детройт. Самолет был забит итальянцами с заводов Форда и Крайслера, едущими домой на Рождество. Когда посередине пути в хвосте открыли беспощинную торговлю, они ринулись туда, и на секунду мне представился наш самолетик, летящий над Атлантикой словно распятие: раскинув крылья, хвостом вниз. Потом поездка на поезде и в конце ее – единственный человек, которого я знал в этом городе. Конец был холодным, сырым, черно-белым. «Земля же была безвидна и пуста; и тьма над бездною. И Дух Божий носился над водою», цитируя бывавшего здесь раньше автора. И было следующее утро. Воскресное утро, и все колокола звонили.

17.

Я всегда был приверженцем мнения, что Бог или, по крайней мере, Его дух есть время. Может быть, это идея моего собственного производства, но теперь уже не вспомнить. В любом случае, я всегда считал, что раз Дух Божий носился над водою, вода должна была его отражать. Отсюда моя слабость к воде, к ее складкам, морщинам, ряби и – раз я с Севера – к ее серости. Я просто считаю, что вода есть образ времени, и под всякий Новый год, в несколько языческом духе, стараюсь оказаться у воды, предпочтительно у моря или у океана, чтобы застать всплытие новой порции, нового стакана времени. Я не жду голы девы верхом на раковине; я жду облака или гребня волны, бьющей в берег в полночь. Для меня это и есть время, выходящее из воды, и я гляжу на кружевной рисунок, оставленный на берегу, не с цыганской пронизательностью, а с нежностью и благодарностью.

Вот путь, а в ту пору и суть, моего взгляда на этот город. В этой фантазии нет ничего от Фрейда или от хордовых, хотя, безусловно, можно установить какую-то эволюционную – если не просто атавистическую – связь между рисунком от волны на песке и пристальным на него взглядом потомка ихтиозавров, который и сам чудовище. Поставленное стоймя кружево венецианских фасадов есть лучшая линия, которую где-либо на земной тверди оставило время-оно же-вода. Плюс, есть несомненное соответствие – если не прямая связь – между прямоугольным характером рам для этого кружева, то есть местных зданий, и анархией воды, которая плюет на понятие формы. Словно здесь яснее, чем где бы то ни было, пространство сознает свою неполноценность по сравнению с временем и отвечает ему тем единственным свойством, которого у времени нет: красотой. И вот почему вода принимает этот ответ, его скручивает, мочалит, кромсает, но в итоге уносит в Адриатику, в общем, не

повредив.

18.

Глаз в этом городе обретает самостоятельность, присущую слезе. С единственной разницей, что он не отделяется от тела, а полностью его себе подчиняет. Немного времени – три-четыре дня, – и тело уже считает себя только транспортным средством глаза, некоей субмариной для его то распахнутого, то сощуренного перископа. Разумеется, любое попадание оборачивается стрельбой по своим: на дно уходит твое сердце или же ум; глаз выныривает на поверхность. Причина, конечно, в местной топографии, в улицах, узких, выющихся, как угорь, приводящих тебя к камбале площади с собором посередине, который оброс ракушками святых и чьи купола сродни медузам. Куда бы ты, уходя здесь из дому, ни направился, ты заблудишься в этих длинных витках улиц и переулков, манящих узнать их насквозь, пройти до неуловимого конца, обыкновенно приводящего к воде, так что его даже не назовешь *cul de sac*⁵. На карте город похож на двух жареных рыб на одной тарелке или, может быть, на две почти сцепленные клешни омара (Пастернак сравнил его с размокшей баранкой); но у него нет севера, юга, востока, запада; единственное его направление – вбок. Он окружает тебя как мерзлые водоросли, и чем больше ты рыщешь и мечешься в поисках ориентиров, тем безнадежнее их теряешь. И желтые стрелки на перекрестках мало помогают, ибо они тоже изогнуты. В сущности, они играют роль не проводника, а водяного. И в юрких взмахх руки туземца, у которого ты спросил дорогу, глаз, отвлекаясь от треска «*A destra, a sinistra, dritto, dritto*»⁶, легко узнает рыбу.

19.

Запутавшаяся в водорослях сеть – более точное сравнение. Из-за нехватки пространства люди здесь существуют в клеточной близости друг к другу, и жизнь развивается по имманентной логике сплетни. Территориальный императив человека в этом городе ограничен водой; ставни преграждают путь не столько солнцу или шуму (минимальному здесь), сколько тому, что могло бы просочиться изнутри. Открытые, они напоминают крылья ангелов, подглядывающих за чьими-то делишками, и как статуи, теснящиеся на карнизах, так и человеческие отношения здесь приобретают ювелирный или, точнее, филигранный оттенок. В этих местах человек и более скрытен, и лучше осведомлен, чем полиция при тирании. Едва выйдя за порог квартиры, особенно зимой, ты сразу делаешься добычей всевозможных подозрений, фантазий, слухов. Если ты был не один, то назавтра в бакалее или у газетчика тебя встретит взгляд ветхозаветной глубины, которая кажется непостижимой в католической стране. Если подал здесь на кого-то в суд или наоборот, адвоката нужно нанять со стороны. Приедем, разумеется, все это по душе, местным нет. Горожанина не забавляет то, что зарисовывает художник или снимает любитель. Но все-таки кривотолки как принцип городской планировки (которая здесь становится членораздельной только задним числом) лучше любой современной решетки и в ладу с местными каналами, взявшими за образец воду, которая, как пересуды за спиной, никогда не кончается. В этом смысле кирпич убедительнее мрамора, хотя оба неприступны для чужака. Правда, раз или два за эти семнадцать лет я сумел втереться в венецианское святая святых, в лабиринт за амальгамой, описанный де Ренье в «Провинциальных забавах». Это произошло таким окольным путем, что теперь мне даже не вспомнить деталей, ибо я не мог уследить за всеми ходами и изгибами, приведшими тогда к моему в этот лабиринт попаданию. Кто-то что-то кому-то

⁵ [5] Тупик (фр.).

⁶ [6] "Направо, налево, прямо, прямо" (ит.).

сказал, а еще один человек, случайно там оказавшийся, услышал и позвонил четвертому, в результате чего однажды вечером энный человек пригласил меня на прием в свое палаццо.

20.

Палаццо досталось энному совсем недавно, после почти трехвековых юридических битв, которые вели несколько ветвей семьи, подарившей миру пару венецианских адмиралов. Соответственно, два огромных с великолепной резьбой кормовых фонаря брезжили в гроте высотой в два этажа – во дворе палаццо, заполненном всяческими флотскими штуками, от Возрождения до наших дней. Сам энный был последним в своей линии и получил палаццо после многих лет ожидания и к великому огорчению остальных членов семейства. К флоту он отношения не имел: немного драматург, немного художник. Правда, в тот момент заметнее всего в этом сорокалетнем, худом, невысоком человеке в сером двубортном костюме очень хорошего покроя было то, что он серьезно болен. Желтизна кожи указывала на перенесенный гепатит – или, может быть, на простую язву. Он ел только консоме и вареные овощи, пока его гости обедались тем, что имеет право на отдельную главу, если не книгу.

Итак, собравшиеся отмечали вступление энного в права, равно как и открытие издательства для выпуска книг о венецианском искусстве. Когда мы трое: коллега-писательница, ее сын и я – прибыли, прием был в самом разгаре. Народу была масса: местные и слегка международные светила, политиканы, знать, завсегда кулис, бородки и шарфики, любовницы разной степени яркости, велосипедная звезда, американские академики. Плюс компания хихикающих, резвых, гомосексуальных молодцов, неизбежных в те дни всюду, где имело место что-то мало-мальски приличное. Во главе компании стоял довольно безумный и злобный петух средних лет – очень белокурый, очень голубоглазый, очень пьяный мажордом этого здания, чьи дни здесь были сочтены и который поэтому всех ненавидел. И правильно делал, добавлю я, ввиду его перспектив.

Они слишком галдели, и энный вежливо предложил нам троим осмотреть остальную часть дома. Мы охотно согласились и поднялись на маленьком лифте. Покинув его кабину, мы покинули двадцатый, девятнадцатый и большую долю восемнадцатого века.

Мы оказались на длинной, плохо освещенной галерее со сводчатым потолком, кишачим пугги. Свет все равно бы не помог, поскольку стены были закрыты большими, от пола до потолка, темно-коричневыми картинами, которые, очевидно, были написаны на заказ для этого помещения и перемежались едва различимыми мраморными бюстами и пилястрами. Картины изображали, насколько можно было разобрать, морские и сухопутные сражения, праздничные шествия, мифологические сцены; самой светлой краской была винно-красная. Это были копии тяжелого порфира, заброшенные, во власти вечного вечера, где за холстами таились рудные пласты; безмолвие здесь царило истинно геологическое. Нельзя было спросить «Что это? Чья работа?» из-за неуместности твоего голоса, принадлежащего более позднему и явно постороннему организму. Еще это было похоже на подводное путешествие, словно мы составляли косяк рыб, проходящий сквозь затонувший галеон с сокровищем на борту, – рта не раскрыть, не то наглотаешься воды.

На дальнем конце галереи наш хозяин порхнул вправо, и мы прошли за ним в комнату, в нечто среднее между библиотекой и кабинетом джентльмена семнадцатого века. Судя по книгам за проволочной сеткой в красном, размером с гардероб, шкафу, век мог быть даже и шестнадцатым. Там было около шестидесяти пухлых белых томов, переплетенных в свиную кожу, от Эзопа до Зенона, сколько и нужно джентльмену – чуть больше, и он превратился бы в мыслителя, с плачевными последствиями для его манер или состояния. В остальном комната была довольно голой. Свет в ней был не многим лучше, чем в галерее; я различил стол и большой выцветший глобус. Затем хозяин повернул ручку, и я увидел его силуэт в дверном проеме, ведущем в анфиладу. Я заглянул в нее и вздрогнул: анфилада казалась вязкой и дурной бесконечностью. Затем я ступил в нее.

Это была длинная череда пустых комнат. Рассудком я понимал, что длиннее параллельной ей галереи она быть не может. Тем не менее, была. У меня возникло чувство, что я перемещаюсь не столько в обычной перспективе, сколько по горизонтальной спирали, где приостановлено действие оптических законов. Каждая комната знаменовала твое дальнейшее убывание, следующую степень твоего небытия. Дело было в трех вещах: драпировках, зеркалах, пыли. Хотя иногда угадывалось назначение комнаты – столовая, салон, возможно, детская, – в общем их роднило отсутствие понятной функции. Они были примерно одного размера или, по крайней мере, не сильно в этом отличались. И во всех окна были зашторены и два-три зеркала украшали стены.

Каким бы ни был первоначальный цвет и узор портьер, теперь они стали бледно-желтыми и очень ветхими. Прикосновение пальца, не говоря о брize, означало бы их настоящую гибель, что следовало из обрывков ткани, устилавших паркет. Они лысели, эти занавеси, и на некоторых складках виднелись широкие вытертые проплешины, словно ткань ощущала, что круг ее бытия замкнулся, и возвращалась в свое дотканное состояние. Наверно, и наше дыхание было слишком фамильярным, но всJ лучше свежего кислорода, в котором, как и история, ткань не нуждалась. Речь шла не о тлении, не о распаде, но о растворении в прошедшем времени, где твой цвет и расположение нитей не имеют значения, где, узнав, что с ними может случиться, они перестроятся и вернуться, сюда или куда-то еще, в ином обличьи. «Простите, – словно говорили они, – в следующий раз мы будем прочнее».

Потом эти зеркала, два или три на комнату, разных размеров, но чаще всего прямоугольные. Все в изящных золотых рамах, с искусными гирляндами или идиллическими сценками, привлекавшими к себе больше внимания, чем сама зеркальная поверхность, поскольку состояние амальгамы было неизменно плохим. В каком-то смысле, рамы были логичней своего содержимого, которое они удерживали, словно не давая расплескаться по стенам. В течение веков отвыкнув отражать что-либо кроме стены напротив, зеркала отказывались вернуть тебе твое лицо, то ли из жадности, то ли из бессилия, а когда пытались, то твои черты возвращались не полностью. Я, кажется, начал понимать де Ренье. От комнаты к комнате, пока мы шли по анфиладе, я видел в этих рамах все меньше и меньше себя, все больше и больше темноты. Постепенное вычитание, подумал я; чем-то оно кончится? И оно кончилось в десятой или одиннадцатой комнате. Я стоял у двери в следующую комнату и вместо себя видел в приличном – метр на метр – прямоугольнике черное, как смоль, ничто. Глубокое и зовущее, оно словно вмещало собственную перспективу – другую анфиладу, быть может. На секунду закружилась голова; но, не будучи романистом, я не воспользовался возможностью и предпочел дверь.

Всю дорогу хватало призрачности; тут ее стало через край. Хозяин и мои спутники где-то отстали; я был предоставлен самому себе. Повсюду лежала пыль; цвета и формы всего окружающего смягчались ее серостью. Инкрустированные мраморные столы, фарфоровые статуэтки, кушетки, стулья, сам паркет. Ею было припудрено все, иногда, как в случае бюстов и статуэток, с неожиданно благотворным эффектом: подчеркивались рты, глаза, складки, живость группы. Но обычно ее слой был толстым и густым; более того, окончательным, будто новой пыли уже не было места. Жаждет пыли всякая поверхность, ибо пыль есть плоть времени, времени плоть и кровь, как сказал поэт; но здесь эта жажда прошла. Теперь пыль проникнет в сами предметы, подумал я, сольется с ними и в конце концов их заменит. Это, разумеется, зависит и от материала; попадают довольно прочные. Предметам не обязательно разрушаться: они просто посереют, раз время не прочь принять их форму, как оно это уже сделало в веренице пустых комнат, где оно достигало материю.

Последней была спальня хозяина. Там царил гигантская, но незастеленная кровать с пологом: реванш адмирала за узкую койку на корабле или, возможно, знак уважения к самому морю. Второе вероятней, учитывая чудовищное бетонное облако путти, нависшее над кроватью и игравшее роль балдахина. Вообще-то, это была скорее лепнина, чем путти. Лица херувимов выглядели до ужаса гротескно: все они, пристально глядя на кровать, улыбались порочной, развратной улыбкой. Они напомнили мне о смешливом молодняке

внизу; и тут я заметил переносной телевизор в углу этой вообще-то абсолютно пустой комнаты. Я вообразил, как мажордом забавляет здесь избранника; судорожный остров нагой плоти в море белья, под изучающими взорами пыльного гипсового шедевра. Как ни странно, вообразил без брезгливости. Напротив, мне показалось, что с точки зрения времени как раз здесь такие забавы уместны, ибо не приносят плода. В конце концов, три века здесь не было полновластного хозяина. Войны, революции, великие открытия, гении, эпидемии не имели сюда доступа из-за юридических препятствий. Действие причинности прекратилось, поскольку ее носители в человеческом облике шагали по этой перспективе только в качестве зрителей, раз в несколько лет в лучшем случае. Так что корчащийся островок в простынном море, в сущности, соответствовал окружающей недвижимости, поскольку и она никогда в жизни не смогла бы ничего породить. К счастью, остров – или правильной будет: вулкан? – мажордома существовал только в глазах путти. На глади зеркала его не было. Как и меня.

21.

Случилось это лишь однажды, хотя мне говорили, что таких мест в Венеции десятки. Но одного раза достаточно, особенно зимой, когда местный туман, знаменитая *Nebbia*, превращает это место в нечто более вневременное, чем святая святых любого дворца, стирая не только отражения, но и все имеющее форму: здания, людей, колоннады, мосты, статуи. Пароходное сообщение прервано, самолеты неделями не садятся, не взлетают, магазины не работают, почта не приходит. Словно чья-то грубая рука вывернула все эти анфилады наизнанку и окутала город подкладкой. Лево, право, верх, низ тасуются, и не заблудиться ты можешь только будучи здешним или имея чичероне. Туман густой, слепой, неподвижный. Последнее, впрочем, выгодно при коротких вылазках, скажем, за сигаретами, поскольку можно найти обратную дорогу по тоннелю, прорытому твоим телом в тумане; тоннель этот остается открыт в течение получаса. Наступает пора читать, весь день жечь электричество, не слишком налегать на самоуничтожительные мысли и кофе, слушать зарубежную службу Би-Би-Си, рано ложиться спать. Короче, это пора, когда забываешь о себе, по примеру города, утратившего зримость. Ты бессознательно следуешь его подсказке, тем более если, как и он, ты один. Не сумев здесь родиться, можешь, по крайней мере, гордиться тем, что разделяешь его невидимость.

22.

Меня, впрочем, содержимое кирпичных банальностей этого города всегда интересовало не меньше – если не больше, – чем мраморные раритеты. Предпочтение это не связано ни с популизмом, ни с нелюбовью к аристократии, ни с привычками романиста. Это просто эхо тех домов, где я жил и работал большую часть жизни. Не сумев здесь родиться, я не сумел, видимо, и еще чего-то, когда выбрал занятие, редко имеющее конечным пунктом бельэтаж. С другой стороны, есть, наверно, какой-то извращенный снобизм в привязанности к здешнему кирпичу, к его красным, воспаленным мышцам в струпьях слезающей штукатурки. Как яйца нередко, особенно пока готовишь завтрак, наводят на мысль о неизвестной цивилизации, дошедшей до идеи производства пищевых консервов органическим способом, так и кирпичная кладка напоминает об альтернативном устройстве плоти, не освежеванной, конечно, но алой, составленной из мелких, одинаковых клеток. Стена или дымоход как еще один автопортрет вида на элементарном уровне. В конце концов, как и Сам Всемогущий, мы делаем все по своему образу, за неимением более подходящего образца, и наши изделия говорят о нас больше, чем наши исповеди.

23.

Как бы то ни было, порог в квартирах венецианцев я переступал редко. Клань не любят чужаков, а венецианцы – народ весьма клановый, к тому же островитяне. Отпугивал и мой итальянский, бестолково скачущий около устойчивого нуля. За месяц или около того он всегда улучшался, но тут я сел в самолет, еще на один год уносивший меня от возможности этот улучшенный язык применить. Поэтому общался я с англоговорящими туземцами и американскими эмигрантами, в чьих домах встречал знакомый вариант – если не уровень – изобилия. Что касается говоривших по-русски типов из местного университета, то меня тошнило от их отношения к моей родной стране и от их политических взглядов. Примерно так же действовали на меня и два-три местных писателя и профессора: слишком много абстрактных литографий по стенам, аккуратных книжных полок и африканских безделушек, молчащих жен, бледных дочерей, разговоров, вяло текущих от последних новостей, чужой славы, психотерапии, сюрреализма к объяснениям, как мне быстрее добраться до отеля. Разнородность стремлений сводится на нет тавтологичностью конечного результата. Я мечтал тратить дни в пустой конторе какого-нибудь здешнего поверенного или аптекаря, глаза на секретаршу, вносящую кофе из бара поблизости, болтая о ценах на моторки или о положительных чертах Диоклетиана, поскольку здесь у всех сносное образование (или мне так представлялось). Я был бы не в силах подняться со стула, клиентов было бы мало; наконец, он запер бы помещение и мы бы отправились к «Гритти» или «Даниели», где я бы заказал выпивку; если бы мне повезло, к нам бы присоединилась секретарша. Мы бы устроились в глубоких креслах, злословя о новых немецких отрядах или вездесущих японцах, которые, кося объективами, возбужденно подглядывают, словно новые старцы, за бледными голыми мраморными бедрами Венеции-Сусанны ⁷, переходящей вброд холодные, крашенные закатом, плещущие воды. Потом он, может, позвал бы к себе поужинать, и его беременная жена, возвышаясь над дымящимися макаронами, отчитывала бы меня за затянувшееся холостячество... Видимо, перебрал, смотря неореалистов и читая Звево ⁸. Для реализации подобных фантазий требуется то же, что для вселения в бельэтаж. Я этим требованиям не удовлетворяю; и никогда не задерживался здесь настолько, чтобы с этими фантазиями расстаться окончательно. Чтобы начать другую жизнь, человек обязан разделаться с предыдущей, причем аккуратно. Никому не удастся достичь убедительного результата, но иногда хорошую службу способна сослужить супруга в бегах или политическая система. О чужих домах, о незнакомых лестницах, странных запахах, непривычной обстановке и топографии – вот о чем грезят старые собаки из пословицы, слабоумные и одряхлевшие, а не о новых хозяевах. И фокус в том, чтобы их не тревожить.

24.

Поэтому я ни разу не выспался, тем более не согрешил в чугунной семейной кровати с девственным, хрустящим бельем, с покрывалом, отделанным вышивкой и бахромой, с облачными подушками в изголовье, над которым висит маленькое распятие, инкрустированное перламутром. Я никогда не наводил праздного взгляда на олеографию Мадонны, ни на выцветшие портреты отца/брата/дяди/сына в берсальерском шлеме с черными перьями, ни на ситец занавесок, ни на фарфор или майолику кувшина, стоящего на темном комод, набитом местными кружевами, простынями, полотенцами, наволочками, бельем, которые выстирала и выгладила на кухонном столе молодая, сильная, загорелая, почти смуглая рука, в то время как ляжка сползала с плеча и серебряный бисер пота блестел на лбу. (Что до серебра, то оно, по всей вероятности, засунуто под стопку простынь в одном

⁷ [7] История о Сусанне и старцах (Книга Даниила, гл. 13) была частым сюжетом для живописцев эпохи Возрождения.

⁸ [8] Итало Звево (1861-1928) – итальянский писатель.

из ящиков.) Все это, разумеется, из кино, где я не был ни звездой, ни статистом, из кино, которое, насколько я понимаю, уже не будут снимать, а если будут, то с другим реквизитом. У меня в уме фильм называется «Венецианская семья» и обходится без сюжета, кроме сцены со мной, идущим по Фондамента Нуове с лучшими в мире красками, разведенными на воде, по левую руку и кирпичным раем по правую. На мне должна быть кепка, темный пиджак и белая рубашка с открытым воротом, выстиранная и выглаженная той же сильной загорелой рукой. У Арсенала я бы взял направо, перешел двенадцать мостов и по виа Гарибальди пошел бы к Жардиньо, где на железном стуле в кафе «Парадизо» сидела бы гладившая и стиравшая эту рубашку шесть лет назад. Рядом с ней стоял бы стакан чинного, лежали булочка, потрепанный «Монобиблос»⁹ Проперция или «Капитанская дочка»; на ней было бы платье из тафты до колен, купленное как-то в Риме перед нашей поездкой на Искию. Она подняла бы глаза горчично-медового цвета, остановила взгляд на фигуре в плотном пиджаке и сказала: «Ну и пузо!» Если что и спасет эту картину от фиаско, то только зимнее освещение.

25.

Не так давно я видел фотографию военной казни. Три бледных, тощих человека среднего роста с непримечательными лицами (камера снимала их в профиль) стояли у свежевырытой ямы. У них была внешность северян – снимали, по-моему, в Литве. За каждым стоял немецкий солдат, приставив пистолет к затылку. Невдалеке виднелась группа солдат – зрителей. Дело происходило в начале зимы или поздней осенью, судя по шинелям. Осужденные, все трое, тоже были одеты одинаково: кепки, плотные черные пиджаки поверх белых рубашек. Кроме всего прочего, им было холодно. Поэтому они втянули головы. И еще потому, что им предстояло умереть: фотограф нажал на кнопку за миг до того, как солдаты – на крючок. Трое деревенских парней втянули головы в плечи и сощурились, как ребенок в ожидании боли. Они ждали, что будет больно, может, ужасно больно, они ждали оглушительного – так близко к ушам! – звука выстрела. И они зажмурились. Ведь репертуар человеческих реакций так ограничен! К ним шла смерть, а не боль; но их тела отказывались различать.

26.

Однажды днем в ноябре 1977 года в гостиницу «Лондон», где я остановился благодаря любезности «Выставки несогласных», мне позвонила Сюзанна Зонтаг, остановившаяся в «Гритти», по той же причине. «Иосиф, – сказала она, – я тут на площади наткнулась на Ольгу Радж. Ты ее знаешь?» – «Нет. Ты хочешь сказать – подруга Паунда?» – «Да, – ответила Сюзанна, – и она позвала меня вечером. Я боюсь идти одна. Не сходишь со мной, если нет других планов?» Их не было, и я сказал, что, конечно, схожу, слишком хорошо понимая ее опасения. Мои, я думал, были бы даже сильнее. Начать с того, что в моей области Эзра Паунд важная шишка, практически целый институт. Масса американских графоманов нашли в Эзре Паунде и учителя и мученика. В молодости я довольно много переводил его на русский. Переводы вышли дрянь, но чуть не были напечатаны, заботами какого-то нациста в душе, работавшего в редакции солидного журнала (теперь он, конечно, ярый националист). Оригинал мне нравился за нахальную свежесть, за подтянутый стих, за стилистическое и тематическое разнообразие, за размах культурных ассоциаций, в ту пору мне недоступный. Еще мне нравился его принцип «это нужно обновить» – то есть нравился, пока до меня не дошло, что настоящая причина «обновления» в том, что «это» вполне

⁹ [9] "Монобиблос" (греч.; букв. "Однокнижие") – традиционное наименование первой книги элегий Секста Проперция (ок. 50 – ок. 15 г. до н. э.).

устарело; что, в конечном счете, мы находимся в ремонтной мастерской. Что касается его невзгод в лечебнице Св. Елизаветы, то, на русский взгляд, выходить из себя тут было не из-за чего и во всяком случае это было лучше девяти граммов свинца, которые бы он заработал в другом месте за свой радиотреп в войну. «Кантос» тоже не произвели особого впечатления: главная ошибка была старая – «поиски красоты». Для человека со столь давней итальянской пропиской странно не понимать, что целью красота быть не может, что она всегда побочный продукт иных, часто весьма заурядных поисков. Стоило бы, по-моему, издать его стихи и речи в одном томе, без всяких ученых предисловий, и посмотреть, что получится. Поэт первый обязан помнить, что время не знает о расстоянии между Рапалло и Литвой. Еще я думал, что достойней признать, что испохабил свою жизнь, чем коченеть в позе гонимого гения, который, повскидывая руку в фашистском салюте, потом отрицает, что этот жест что-то значил, дает уклончивые интервью и надеется плащом и посохом придать себе облик мудреца, в итоге приобретая сходство с Хайле Селассие. Он все еще котировался у некоторых моих друзей, и теперь меня ждала встреча с его старухой.

Адрес был деи Салюте Сестьере, часть города с самым большим, по моим сведениям, процентом иностранцев, особенно Anglos. Немного поплутав, мы нашли нужное место – не так далеко, в сущности, от дома, где в десятые годы жил де Ренье. Мы позвонили в дверь, и первое, что я увидел за спиной маленькой женщины с блестящими черными глазками, был бюст поэта работы Годье-Бжешка, стоящий на полу в гостиной. Скука охватила внезапно, но прочно.

Подали чай, но только мы сделали первый глоток, как хозяйка – седая, тщедушная, опрятная дама с запасом сил еще на много лет – подняла острый палец, попавший на невидимую умственную пластинку, и из поджатых губ полилась ария, партитура которой была обнародована самое позднее в 1945 году. Что Эзра не был фашистом; что они боялись, что американцы (довольно странно слышать от американки) отправят его на стул; что о творившемся он ничего не знал; что в Рапалло немцев не было; что он ездил из Рапалло в Рим только дважды в месяц на передачу; что американцы опять-таки ошибались, считая, что Эзра сознательно... В какой-то момент я отключился – с тем большей легкостью, что английский мне не родной, – и просто кивал в паузах или когда она прерывала монолог риторическим «Capito?»¹⁰. Запись, решил я; «голос ее хозяина». Будь вежлив и не перебивай даму; это ахиня, но она в нее верит. Во мне, видимо, есть часть, всегда уважающая физическую сторону речи, независимо от содержания; само движение чьих-то губ существенней, чем то, что их движет. Я глубже уселся в кресло и попытался сосредоточиться на печенье, поскольку ужина не подали.

Прервал дремоту голос Сюзанны, из чего я заключил, что пластинка остановилась. В его тембре было что-то необычное, и я наострил уши. Сюзанна говорила: «Но, Ольга, вы же не думаете, что американцы рассердились на Эзру из-за передач. Если б дело было в одних передачах, тогда Эзра был бы просто второй «Токийской Розой»¹¹. Да, это был один из шикарнейших выпадов, когда-либо слышанных мной. Я посмотрел на Ольгу. Она, нужно признать, встретила удар по-солдатски. Точнее говоря, профессионально. Или же просто не поняла Сюзанну, хотя вряд ли. «А из-за чего же?» – поинтересовалась она. «Из-за антисемитизма Эзры», – ответила Сюзанна, и я увидел, как палец старой дамы корундовой иглой снова скакнул в бороздку. На этой стороне пластинки было записано, что «нужно понимать, что Эзра не был антисемитом, что его все-таки звали Эзра, что у него были друзья евреи, в том числе один венецианский адмирал...» – столь же знакомая, столь же длинная песня – минут на 45; но нам уже было пора идти. Мы поблагодарили старую даму за вечер и

¹⁰ [10] "Понятно?" (ит.).

¹¹ [11] Ива Тогури – родившаяся в США японка, которая во время Второй мировой войны вела передачи японского радио на Америку.

распрощались. Лично я не испытывал грусти, обычно возникающей, когда уходишь из дома вдовы или вообще оставляешь кого-то одного в пустом месте. Старая дама выглядела молодцом, не бедствовала; плюс ко всему наслаждалась комфортом своих убеждений – и чтобы его сохранить, она, я понял, пойдет на все. Со старыми фашистами я никогда не сталкивался, но со старыми коммунистами имел дело не раз, и в доме Ольги Радж, с этим бюстом Эзры на полу, почувал тот самый дух. От дома мы пошли налево и через две минуты очутились на Фондамента дельи Инкурабили.

27.

Зимний свет в этом городе! У него есть исключительное свойство увеличивать разрешающую способность глаза до микроскопической точности – зрачок, особенно серой или горчично-медовой разновидности, посрамляет любой хассельбладовский объектив и доводит будущие воспоминания до резкости снимка из «Нешнл Джографик». Бодрая синева неба; солнце, улизнув от своего золотого двойника у подножия Сан-Джорджо, скользит по несметной чешуе плещущей ряби Лагуны; за спиной, под колоннадой Палаццо Дукале, коренастые ребята в шубах наяривают «Eine Kleine Nachtmusik»¹², специально для тебя, усевшегося на белом стуле и щурящегося на сумасшедшие гамбиты голубей на шахматной доске огромного кампо. Эспрессо на дне твоей чашки – единственная, как ты понимаешь, черная точка на мили вокруг. Таков здешний полдень. По утрам этот свет припадает грудью к оконному стеклу и, разжав твой глаз точно раковину, бежит дальше, перебирая длинными лучами аркады, колоннады, кирпичные трубы, святых и львов – как бегущие сломя голову школьники прутьями по железной ограде парка или сада. «Изобрази», – кричит он, то ли принимая тебя за какого-то Каналетто, Карпаччо, Гварди, то ли не полагаясь на способность твоей сетчатки вместить то, что он предлагает, тем более – на способность твоего мозга это впитать. Возможно, последним первое и объясняется. Возможно, последнее и первое суть синонимы. Возможно, искусство есть просто реакция организма на собственную малоемкость. Как бы то ни было, ты подчиняешься приказу и хватаешь камеру, дополняющую что зрачок, что клетки мозга. Придись этому городу туго с деньгами, он может обратиться к Кодаку за финансовой помощью – или же обложить его продукцию диким налогом. И точно так же, пока существует этот город, пока он освещен зимним светом, акции Кодака – лучшее помещение капитала.

28.

На закате все города прекрасны, но некоторые прекраснее. Рельефы становятся мягче, колонны круглее, капители кудрявее, карнизы четче, шпили тверже, ниши глубже, одежды апостолов складчатей, ангелы невесомей. На улицах темнеет, но еще не кончился день для набережных и того гигантского жидкого зеркала, где моторки, катера, гондолы, шлюпки и барки, как раскиданная старая обувь, ревностно топчут барочные и готические фасады, не щадя ни твоего лица, ни мимолетного облака. «Изобрази», – шепчет зимний свет, налетев на кирпичную стену больницы или вернувшись в родной рай фронтона Сан-Закариа после долгого космического перелета. И ты чувствуешь усталость этого света, отдыхающего в мраморных раковинах Закариа час-другой, пока земля подставляет светилу другую щеку. Таков зимний свет в чистом виде. Ни тепла, ни энергии он не несет, растеряв их где-то во вселенной или в соседних тучах. Единственное желание его частиц – достичь предмета, большого ли, малого, и сделать его видимым. Это частный свет, свет Джорджоне или Беллини, а не Тьеполо или Тинторетто. И город нежится в нем, наслаждаясь его касаниями, лаской бесконечности, откуда он явился. В конечном счете, именно предмет и делает

¹² [12] "Маленькая ночная серенада" (соч. Моцарта).

бесконечность частной.

29.

А предмет этот может оказаться маленьким чудовищем, с головой льва и туловищем дельфина. Второе будет выгибаться, первая точить клыки. Он может украшать вход или просто вылезать из стены без всякой видимой цели, отсутствие которой делает его странно привычным. При определенной специальности и в определенном возрасте нет ничего привычнее, чем не иметь цели. Как и путать черты и свойства двух или более существ и, конечно, их род. В общем, все эти бредовые существа – драконы, горгульи, василиски, женогрудые сфинксы, крылатые львы, церберы, минотавры, кентавры, химеры, – пришедшие к нам из мифологии (заслужившей звание классического сюрреализма), суть наши автопортреты, в том смысле, что в них выражается генетическая память вида об эволюции. Неудивительно их изобилие здесь, в этом городе, всплывшем из воды. С другой стороны, ничего фрейдистского, под – или бессознательного в них нет. Учитывая природу человеческой реальности, толкования снов есть тавтология, оправданная в лучшем случае соотношением дневного света и темноты. Впрочем, сомнительно, чтобы этот демократический принцип применялся в природе, где большинства нет ни у чего. Даже у воды, отражающей и преломляющей все, включая самое себя, меняющей формы и материалы, иногда бережно, иногда чудовищно. Этим и объясняется характер здешнего зимнего света; этим объясняется его привязанность к монстрам – и к херувимам. Вероятно, и херувимы – этап эволюции вида. Или наоборот, ибо, устроив их перепись в этом городе, получим цифру, превышающую численность населения.

30.

Однако из херувимов и чудовищ вторые требуют большего внимания. Хотя бы потому, что к ним вас причисляют чаще, чем к первым; хотя бы потому, что крылья обретаешь только в ВВС. Имея нечистую совесть, узнаешь себя в любой из этих мраморных, бронзовых, гипсовых небылиц – как минимум, в драконе, а не в св. Георгии. При специальности, заставляющей макать перо в чернильницу, можно узнать себя в обоих. В конце концов, святого без чудовища не бывает – не говоря уже о подводном происхождении чернил. Но даже не разводя эту идею ни чернилами, ни водой, ясно, что это город рыб, как пойманных, так и плавающих на воле. И, увиденный рыбой – если наделить ее человеческим глазом во избежание пресловутых искажений, – человек предстал бы чудовищем; может, и не осьминогом, но уж точно четвероногим. Чем-то, во всяком случае, гораздо более сложным, чем сама рыба. Поэтому неудивительно, что акулы так за нами гонятся. Спроси простую золотую рыбку – даже не пойманную, а на свободе – как я выгляжу, она ответит: ты чудовище. И ее голос покажется странно знакомым, словно глаза у нее горчично-медового цвета.

31.

Поэтому, продвигаясь по этим лабиринтам, никогда не знаешь, преследуешь ли ты какую-то цель или бежишь от себя, охотник ли ты или дичь. Точно, что не святой, но, возможно, и не полноценный дракон; вряд ли Тесей, но и не изголодавшийся по девушкам Минотавр. Впрочем, греческая версия ближе к делу, поскольку победитель не получает ничего, поскольку убийца и убитый родня. Чудовище ведь приходилось единоутробным братом награде; во всяком случае – итоговой жене героя. Насколько мы знаем, Ариадна и Федра были сестры, и храбрый афинянин поимел обеих. Стремясь в зятя к критскому царю, он вполне мог пойти на убийственное задание, чтобы улучшить репутацию своей будущей семьи. Как от внучек Гелиоса от девиц ждали чистоты и блеска; об этом же говорят и их

имена. Ведь даже мать, Пасифая, при всех своих темных влечениях, была Ослепительно Яркой. И возможно, она отдалась темным влечениям и, тем самым, быку как раз затем, чтобы доказать, что природе безразличен принцип большинства, так как рога быка напоминают лунный серп. Возможно, светотень интересовала ее сильнее, чем животные свойства, и она затмила быка по чисто оптическим соображениям. И тот факт, что бык, чья нагруженная символами родословная восходит к наскальной живописи, был настолько слеп, что обманулся искусственной коровой, сооруженной для Пасифаи Дедалом, доказывает, что ее предки берут верх в системе причинности, что преломленный ею свет Гелиоса все еще – после четверых детей (двух знаменитых дочерей и двух никчемных сыновей) – ослепительно яркое. А по поводу причинности следует добавить, что главный герой сюжета – именно Дедал, кроме очень правдоподобной коровы построивший – на этот раз для царя – тот самый лабиринт, где быкоголовый отпрыск и его убийца однажды столкнулись с печальными последствиями для первого. В каком-то смысле, вся история родилась в мозгу Дедала, и в особенности лабиринт, так похожий на мозг. В каком-то смысле, все между собой в родстве, по крайней мере преследователь и преследуемый. Поэтому неудивительно, что блуждания по улицам этого города, чьей самой крупной колонией в течение примерно трех веков был Крит, производят довольно тавтологическое впечатление, особенно когда смеркается, то есть когда убывают пасифайские, ариаднины и федрины свойства города. Иными словами, особенно вечером, когда предаешься самоуничижению.

32.

На светлой стороне, конечно, множество львов: крылатых, с книгой, раскрытой на «Мир тебе, св. Марк», или же с нормальной кошачьей внешностью. Крылатые, строго говоря, тоже относятся к категории чудовищ. Правда, из-за своих занятий я всегда рассматривал их как более резвую и образованную разновидность Пегаса, который летать, конечно, может, но чье умение читать более сомнительно. Во всяком случае, лапой листать страницы удобнее, чем копытом. В этом городе львы на каждом углу, и с годами я невольно включился в почитание этого тотема, даже поместив одного из них на обложку одной моей книги: то есть на то, что в моей специальности точнее всего соответствует фасаду. Но они все равно чудовища, хотя бы потому, что рождены воображением города, даже в зените морской мощи не контролировавшего ни одной территории, где бы это животное водилось, пусть и в бескрылом состоянии. (Греки со своим быком оказались большими реалистами, несмотря на его неолитическую родословную.) Что до самого евангелиста, то он, разумеется, умер в Александрии, в Египте – но от естественных причин и ни разу не побывав на сафари. В общем, со львами дел христианский мир почти не имел, поскольку на его территории они не водились, обитая только в Африке, при этом в пустынях. Что, конечно, сблизило их впоследствии с отцами-пустынниками; а кроме этого, христиане сталкивались со зверем только в качестве его пищи в римских цирках, куда львов ввозили с африканских берегов для увеселений. Их экзотичность – лучше сказать: их небывалость – и развязала фантазию древних, позволив приписывать этим зверям различные потусторонние свойства, в том числе и общение с Божеством. Так что не совсем нелепо сажать зверя на венецианские фасады в неправдоподобной роли стража вечного упокоения св. Марка; если не церковь, то саму Венецию можно счесть львицей, защищающей львенка. К тому же, в этом городе церковь и государство слились, совершенно византийским образом. Единственный случай, должен заметить, когда такое слияние обернулось, и очень скоро, выгодой для подданных. Поэтому неудивительно, что, как настоящий светский лев, он здесь в центре внимания, правда, держится при этом вполне по-человечески. На каждом карнизе, почти над каждым входом видишь либо его морду с человеческим выражением, либо человеческую голову с чертами льва. Обе, в конечном счете, имеют право зваться чудовищами (пускай добродушными), ибо в природе никогда не существовали. И еще потому, что имеют численный перевес над всеми остальными высеченными или вылепленными образами, включая Мадонну и Самого

Спасителя. С другой стороны, зверя извять легче, чем человека. Животному царству, в общем, не повезло в христианском искусстве, тем более – в доктрине. Так что местное стадо кошачьих может считать, что с его помощью животное царство берет реванш. Зимой они разгоняют наши сумерки.

33.

Однажды в сумерки, когда темнеют серые глаза, но набирают золота горчично-медовые, обладательница последних и я встречали египетский военный корабль, точнее легкий крейсер, швартованный у Фондамента делла Арсенале, рядом с Жардиньо. Не могу сейчас вспомнить название корабля, но порт приписки точно был Александрия. Это было весьма современное военно-морское железо, ошестившееся всевозможными антеннами, радарными, ракетными установками, бронебашнями ПВО, не считая обычных орудий главного калибра. Издалека его национальная принадлежность была неопределима. Даже вблизи пришлось бы подумать, потому что форма и выучка экипажа отдавали Британией. Флаг уже спустили, и небо над Лагуной менялось от бордо к темному пурпуру. Пока мы недоумевали, что привело сюда корабль – нужда в ремонте? новая помолвка Венеции и Александрии? надежда вытребовать назад мощи, украденные в двенадцатом веке? – вдруг ожили громкоговорители, и мы услышали: «Алла! Акбар Алла! Акбар!» Муэдзин созывал экипаж на вечернюю молитву, обе мачты на мгновение превратились в минареты. Крейсер обернулся Стамбулом в профиль. Мне показалось, что у меня на глазах вдруг сложилась карта или захлопнулась книга истории. По крайней мере, она сократилась на шесть веков: христианство стало ровесником ислама. Босфор накрыл Адриатику, и нельзя было сказать, где чья волна. Это вам не архитектура.

34.

Зимними вечерами море, гонимое встречным восточным ветром, до краев, точно ванну, заполняет все каналы, иногда через край.

Никто не бежит с первого этажа, крича: «Прорвало!», так как первого этажа нет. Город стоит по щиколотку в воде, и лодки, «как животные, на привязи у стен» (если вспомнить Кассиодора)¹³, встают на дыбы. Башмак паломника, попробовав воду, сушится в номере на батарее; туземец ныряет в чулан, чтобы выудить пару бот. «Acqua alta»¹⁴, – говорит голос по радио, и уличная толчея спадает. Улицы пустеют, магазины, бары, рестораны и траптории закрываются. Горят только их вывески, наконец-то присоединившись к нарциссистским играм, пока мостовая ненадолго, поверхностно сравнивается с каналами в зеркальности. Правда, церкви по-прежнему открыты, но ведь ни клиру, ни прихожанам хождение по водам не в новинку. Ни музыке, близнецу воды.

Семнадцать лет назад, переходя вброд одно кампо за другим, пара зеленых бот принесла меня к порогу розового зданьяца. На стене я увидел доску, гласящую, что в этой церкви крещен родившийся раньше срока Антонио Вивальди. В те дни я еще был довольно рыжий; в те дни я растрогался, поняв, что попал на место крещения того самого «рыжего клирика», который так часто и так сильно радовал меня во множестве Богом забытых мест. И я вроде бы вспомнил, что именно Ольга Радж устроила первую неделю Вивальди в этом городе – так уж вышло, что за несколько дней до начала Второй мировой войны. Неделя

¹³ [13] Кассиодор (ок. 487 – ок. 578) – писатель и государственный деятель, живший в государстве остготов; автор "Истории готов", дошедшей в сокращенном изложении.

¹⁴ [14] "Вода поднялась" (ит.).

проходила в палатце графини Полиньяк, и мисс Радж играла на скрипке. Исполняя какую-то пьесу, она заметила краем глаза, что в зал вошел человек и стал у дверей, поскольку все места были заняты. Пьеса была длинная, и она начала беспокоиться, потому что приближалась к пассажиру, где требовалось перевернуть страницу, не прерывая игры. Человек, которого она видела краем глаза, передвинулся и исчез из поля зрения. Пассаж приближался, беспокойство росло. И вот ровно в ту секунду, когда ей надо было перевернуть страницу, слева от нее возникла рука, протянулась к пюпитру и медленно перевернула лист. И она продолжала играть, а когда трудное место кончилось, взглянула налево, чтобы выразить благодарность. «Вот так, – рассказывала Ольга Радж моему другу, – я впервые увидела Стравинского».

Так что можно войти и отстоять службу. Петь будут вполголоса, вероятно, по причине погоды. Если вас устроит такое извинение, то Адресата тем более. Кроме того, вы не в состоянии разобрать слова, на каком бы языке – итальянском или латыни – ни пели. Поэтому вы просто стоите или садитесь на скамью подальше и слушаете. «Мессу лучше всего слушать, – говорил Уистан Оден, – не зная языка». И действительно, в таких случаях невежество помогает сосредоточиться не меньше, чем слабое освещение, от которого пилигрим страдает в любой итальянской церкви, особенно зимой. Кидать монеты в осветительный автомат во время службы не очень-то хорошо. Кроме того, их часто не хватает у тебя в кармане, чтобы как следует насладиться картиной. В былое время я не расставался с мощным фонарем, каким пользуются нью-йоркские полицейские. Один из путей к богатству, думал я, это наладить производство миниатюрных долгодействующих ламп-вспышек, вроде фотографических. Я бы их назвал «Вечная вспышка» или, еще лучше, «Да будет свет» и через пару лет купил бы квартиру где-нибудь на Сан-Лио или Салюте. Даже мог бы жениться на секретарше компаньона, которой у него нет, так как нет и его самого... Музыка замирает: ее близнец, однако, поднялся, как ты обнаруживаешь, выйдя на улицу, – поднялся незначительно, но достаточно, чтобы возместить тебе замерший хорал. Ибо вода тоже хорал, и не в одном, а во многих отношениях. Это та же вода, что несла крестonosцев, купцов, мощи св. Марка, турок, всевозможные грузы, военные и прогулочные суда и, самое главное, отражала тех, кто когда-либо жил, не говорю уже – бывал, в этом городе, всех, кто шел посуху или вброд по его улицам, как ты теперь. Неудивительно, что она мутно-зеленая днем, а по ночам смоляной чернотой соперничает с твердью. Чудо, что город, глядя ее по и против шерсти больше тысячи лет, не протер в ней дыр, что она прежняя H₂O (хотя пить ее и не станешь), что она по-прежнему поднимается. Она действительно похожа на нотные листы, по которым играют без перерыва, которые прибывают в партитурах прилива, в тактовых чертах каналов, с бесчисленными облигато мостов, высоких окон. куполов на соборах Кодуччи, не говоря уже о скрипичных грифах гондол. В сущности, весь город, особенно ночью, напоминает гигантский оркестр, с тускло освещенными пюпитрами палатце, с немолчным хором волн, с фальцетом звезды в зимнем небе. Музыка, разумеется, больше оркестра, и нет руки, чтобы перевернуть страницу.

36.

Это тревожит оркестр, точнее, дирижеров, отцов города. По их подсчетам, этот город только за последний век осел на 23 см. Чем наслаждается глаз туриста – для туземца настоящая головная боль. И если бы одна головная боль, все было бы еще ничего. Но к ней прибавляется предчувствие, если не сказать страх, что городу уготована судьба Атлантиды. Страх не лишен оснований, хотя бы потому, что неповторимость города приравнивает его к особой цивилизации. Главной опасностью признаны высокие зимние приливы, довершают дело индустрия и сельское хозяйство материка, засоряющие Лагуну химическими отходами, и засорение каналов самого города. Правда, люди моей специальности еще с романтиков привыкли возлагать вину на человека, а не на природные бедствия. Поэтому, поддавшись тираническим инстинктам, я бы установил какие-нибудь шлюзные ворота, чтобы запрудить

человеческое море, за последние два десятилетия поднявшееся на два миллиарда и на гребень волны выносящее отбросы. Я бы заморозил производство и число жителей в двадцатимильной зоне вдоль северного берега Лагуны, вычистил бы дно каналов драгами и землечерпалками (наняв для этой операции войска или платя местным компаниям сверхурочные) и развел бы в них нужные для очистки воды породы рыб и бактерий.

Я понятия не имею, что это за рыбы или бактерии, но уверен, что они существуют. Тирания редко синоним компетентности. На худой конец, я бы обратился к шведам и попросил рекомендаций у Стокгольмского муниципалитета: в этом городе, при всей его промышленности и населении, как только выходишь из отеля, с тобой, выпрыгнув из воды, здороваются семга. Если же дело в разнице температур, то можно попробовать сбросить в каналы ледяные глыбы или, в случае неудачи, регулярно освобождать холодильники туземцев от кубиков льда, поскольку виски здесь не в почете даже зимой.

«А почему же вы туда ездите именно зимой?» – спросил меня однажды мой издатель, сидя в китайском ресторане в Нью-Йорке в окружении своих голубых английских подопечных. «Да, почему? – подхватили они за своим возможным благодетелем. – Как там зимой?» Я подумал было рассказать им об *acqua alta*; об оттенках серого цвета в окне во время завтрака в отеле, когда вокруг тишина и лица молодоженов, подернутые томной утренней пеленой; о голубях, не пропускающих, в своей дремлющей склонности к архитектуре, ни одного изгиба или карниза местного барокко; об одиноком памятнике Франческо Кверини и двум его лайкам из истрийского камня, похожего, по-моему, цветом на последнее, что он видел, умирая, в конце своего злополучного путешествия на Северный полюс, – бедному Кверини, который слушает теперь шелест вечнозеленых в Жардиньо вместе с Вагнером и Кардуччи; о храбром воробье, примостившемся на вздрагивающем лезвии гондолы на фоне сырой бесконечности, взбаламученной сирокко. Нет, решил я, глядя на их изнеженные, но напряженно внимающие лица; нет, это не пройдет. «Ну, – сказал я, – это как Грета Гарбо в ванне».

37.

За эти годы, за долгие пребывания и короткие наезды, я был здесь, по-моему, счастлив и несчастлив примерно в равной мере. Это не так важно уже потому, что я приезжал сюда не с романтическими целями, а поработать, закончить вещь, перевести, написать пару стихотворений, если повезет; просто быть. То есть ни для медового месяца (ближе всего к которому я подошел много лет назад, на острове Иския у Сиены), ни для развода. Я, значит, работал. Счастье и горе просто навещали, хотя иногда оставались и после меня, словно прислуга. Я давно пришел к выводу, что не превращать свою эмоциональную жизнь в пищу – это добродетель. Работы всегда вдоволь, не говоря о том, что вдоволь внешнего мира. В конце концов, всегда остается этот город. И пока он есть, я не верю, чтобы я или кто угодно мог поддаться гипнозу или ослеплению любовной трагедии. Помню один день – день, когда, проведя здесь в одиночку месяц, я должен был уезжать и уже позавтракал в какой-то маленькой траттории в самом дальнем углу Фондамента Нуова жареной рыбой и полбутылкой вина. Нагрузившись, я направился к месту, где жил, чтобы собрать чемоданы и сесть на катер. Точка, перемещающаяся в этой гигантской акварели, я прошел четверть мили по Фондамента Нуова и повернул направо у больницы Джованни и Паоло. День был теплый, солнечный, небо голубое, все прекрасно. И спиной к Фондамента и Сан-Микеле, держась больничной стены, почти задевая ее левым плечом и щурясь на солнце, я вдруг понял: я кот. Кот, съевший рыбу. Обратись ко мне кто-нибудь в этот момент, я бы мяукнул. Я был абсолютно, животно счастлив. Разумеется, через двенадцать часов приземлившись в Нью-Йорке, я угодил в самую поганую ситуацию за всю свою жизнь – или так мне тогда показалось. Но кот еще не покинул меня; если бы не он, я бы по сей день лез на стены в какой-нибудь дорогой психиатрической клинике.

38.

Ночью здесь, в общем, делать нечего. Оперные и церковные концерты, конечно, вариант; но они требуют предприимчивости и хлопот: билеты, программки, все такое. Я в этом не силен; это все равно что готовить себе самому обед из трех блюд – или еще тоскливее. Кроме того, мне так везет, что когда бы я ни наметил вечер в Ла Фениче ¹⁵, там недельная полоса Чайковского или Вагнера – равноценных с точки зрения моей аллергии. Хоть бы раз Доницетти или Моцарт! Остается читать и уныло разгуливать, что почти одно и то же, поскольку ночью эти каменные узкие улочки похожи на проходы между стеллажами огромной пустой библиотеки, и с той же тишиной. Все «книги» захлопнуты наглухо, и о чем они, догадываешься только по имени на корешке под дверным звонком. О, здесь ты найдешь твоих Доницетти и Россини, твоих Люлли и Фрескобальди! Может быть, даже Моцарта, может быть, даже Гайдна. Еще эти улицы похожи на внутренность гардероба: вся одежда из темной, облезшей ткани, но подкладка красна и отливает золотом. Гете назвал это место «республикой бобров», но Монтеские был, наверное, метче со своим решительным «un endroit o`u il devrait ny' avoir que des poissons» ¹⁶. Ибо и тогда, и теперь через канал в двух-трех горящих, высоких, закругленных, полузавешенных газом или тюлем окнах видны подсвечник-осьминог, лакированный плавник рояля, роскошная бронза вокруг каштановых или красноватых холстов, золоченый костяк потолочных балок – и кажется, что ты заглянул в рыбу сквозь чешую и что у рыбы званый вечер. Издали – через канал – трудно разобрать, где гость, где хозяйка. При всем уважении к лучшей из наличных вер должен признаться, что не считаю, будто это место могло развиваться только из знаменитой хордовой, торжествующей или нет. Я подозреваю и готов утверждать, что, в первую очередь, оно развилось из той самой стихии, которая дала этой хордовой жизнь и уют и которая, по крайней мере для меня, синоним времени. Эта стихия проявляется в массе форм и цветов, с массой разных свойств, не считая тех, что связаны с Афродитой и Спасителем: штиль, шторм, вал, волна, пена, рябь, не говоря об организмах. На мой взгляд, этот город воспроизводит и все внешние черты стихии и ее содержимое. Брызжа, блеща, вспыхивая, сверкая, она рвалась вверх так долго, что не удивляешься, если некоторые из ее проявлений обрели в итоге массу, плоть, твердость. Почему это случилось именно здесь, понятия не имею. Вероятно, потому, что стихия услышала итальянскую речь.

39.

Глаз – наиболее самостоятельный из наших органов. Причина в том, что объекты его внимания неизбежно размещены вовне. Кроме как в зеркале, глаз себя никогда не видит. Он закрывается последним, когда тело засыпает. Он остается открыт, когда тело разбито параличом или мертво. Глаз продолжает следить за реальностью при любых обстоятельствах, даже когда в этом нет нужды. Спрашивается «почему?», и ответ: потому, что окружение враждебно. Взгляд есть орудие приспособления к окружающей среде, которая остается враждебной, как бы хорошо к ней ни приспособиться. Враждебность окружения растет пропорционально длительности твоего в нем присутствия, причем речь не только о стариках. Короче, глаз ищет безопасности. Этим объясняется пристрастие глаза к искусству вообще и к венецианскому в частности. Этим объясняется тяга глаза к красоте, как и само ее существование. Ибо красота утешает, поскольку она безопасна. Она не грозит убить, не причиняет боли. Статуя Аполлона не кусается, и не укусит пудель Карпаччо. Когда глазу не удается найти красоту (она же утешение), он приказывает телу ее создать, а если и это не

¹⁵ [15] Театр в Венеции.

¹⁶ [16] "Место, где должны жить только рыбы" (фр.).

удается, приучает его считать уродливое замечательным. В первом случае он полагается на человеческий гений; во втором обращается к запасам нашего смирения. Которого всегда больше, и поэтому, как всякое большинство, оно склонно диктовать законы. Возьмем какой-нибудь пример; возьмем молодую, скажем, девушку. В известном возрасте разглядываешь проходящих девушек без прикладного интереса, без желания на них взобраться. На манер телевизора, работающего в пустой квартире, глаз продолжает передавать изображения всех этих чудес 1 м 73 см ростом: светло-каштановые волосы, овал Перуджино, газельи глаза, лоно кормилицы и талия осы, темно-зеленый бархат платья и немислимо тонкие щиколотки и запястья. Глаз может нацелиться на них в церкви, у кого-нибудь на свадьбе или, еще хуже, в поэтическом отделе книжного магазина. Достаточно дальнорукый или прибегающий к подсказке уха, глаз может узнать, кто они такие (и тогда могут прозвучать такие захватывающие имена, как, например, Арабелла Ферри) и, увы, что у них с кем-то роман. Несмотря на бесполезность данных, глаз продолжает их собирать. Фактически, чем данные бесполезней, тем резче фокус. Спрашивается «почему?» – и ответ: потому что красота – всегда внешняя; потому что она – исключение из правил. Вот это – ее местоположение и ее исключительность – и заставляет глаз бешено вибрировать или – говоря рыцарским слогом – странствовать. Ибо красота есть место, где глаз отдыхает. Эстетическое чувство – двойник инстинкта самосохранения и надежнее этики. Главное орудие эстетики, глаз, абсолютно самостоятелен. В самостоятельности он уступает только слезе.

40.

Слезу в этом месте можно ронять по разным поводам. Допустив, что красота есть распределение света самым благоприятным для нашей сетчатки образом, получаем, что слеза есть расписка в неспособности сетчатки и самой слезы эту красоту удержать. Любовь, в общем, приходит со скоростью света; разрыв – со скоростью звука. Падение скорости от большей к меньшей и увлажняет глаз. Поскольку ты сам конечен, отъезд из этого города всегда кажется окончательным; оставив его позади, оставляешь его навсегда. Ибо отъезд есть ссылка глаза в провинцию прочих чувств; в лучшем случае, в расселины и расщелины мозга. Ибо глаз отождествляет себя не с телом, а с объектом своего внимания. И для глаза, по соображениям чисто оптическим, отъезд означает не расставание тела с городом, а прощание города со зрачком. Так и удаление того, кого любишь, особенно постепенное, вызывает грусть, независимо от того, кто именно и по каким причинам реально движется. Сложилось так, что Венеция есть возлюбленная глаза. После него все разочаровывает. Слеза есть предвосхищение того, что ждет глаз в будущем.

41.

Безусловно, у всех на нее, на Венецию, есть виды. У политиков и у капитала особенно, ибо самое большое будущее у денег. Оно такое большое, что деньги воспринимаются как синоним будущего и стараются им распорядиться. Все время слышны разговоры о реанимации города, о превращении всей провинции Венето в морские ворота Центральной Европы, развитии здешней промышленности, расширении портового комплекса Маргеры, увеличении танкерного судоходства в Лагуне и углублении Лагуны в этих целях, превращении венецианского Арсенала, обессмерченного Данте, в местный аналог Бобура, то есть в склад самого свежего интернационального мусора, о размещении там Экспо-2000 и т. п. Вся эта околесица несется из тех самых ртов, которые еще не успели закрыться после болтовни об экологии, сохранении, реставрации, культурном наследии и т. п. Цель всего этого одна: насилие. Конечно, никакой насильник не захочет признать себя таковым, тем более попасться. Отсюда смесь планов и метафор, возвышенной риторики и лирического пыла, раздувающая могучие грудные клетки депутатов и commendatore.

Хотя эти персонажи гораздо опаснее турок, австрийцев и Наполеона вместе взятых, за те семнадцать лет, что я посещал этот город, здесь мало что изменилось. Венецию, как и Пенелопу, спасает от женихов их соперничество, конкурентная природа капитализма, которая сократилась до родства толстосумов и партий. При демократии если чему научились, так это совать друг другу палки в колеса, и чехарда итальянских кабинетов зарекомендовала себя самой надежной страховкой города. Как и путаница политических ребусов самой Венеции. Дожей больше нет, восьмьюдесятью тысячами обитателей этих 118 островов руководит уже не чей-то великий замысел, а непосредственные, зачастую близорукие заботы, желание свести концы с концами. Дальновидность здесь, впрочем, только бы навредила. В месте таких размеров 20 или 30 безработных уже повод для беспокойства городского совета, что наряду с врожденным недоверием островов к материка содействует плохому приему материковых планов, сколь угодно захватывающих. Обещания полной занятости и развития, как бы привлекательно они ни звучали во всяком ином месте, мало что значат в этом городе, еле набирающем восемь миль в периметре, и даже в апогее морских успехов не вмещавшем более 200 000 душ. Такие перспективы могут поразить лавочника или врача; но похоронное бюро стало бы возражать, поскольку местные кладбища и без того перенаселены, и мертвых пришлось бы хоронить на материке. В конечном счете, как раз на это материк и годен. Правда, будь похоронный агент и врач членами разных партий, какой-то прогресс стал бы возможен. В этом городе они часто состоят в одной, и дело стопорится довольно быстро, даже если эта партия – ИКП. Короче, в основе всех этих склок, невольных или вольных, лежит та простая истина, что острова не растут. Этого деньги, они же будущее, они же говорливые политиканы и толстосумы, как раз и не понимают. Хуже того, они чувствуют, что это место с ними не считается, поскольку красота, *fait accompli*¹⁷ по определению, никогда не считается с будущим, ни во что его не ставя, как и напыщенное, беспомощное настоящее. Лучше всего это видно по современному искусству, которое делает пророческим только его нищета. Нищий всегда за настоящее. Возможно, единственная цель коллекции Пегги Гуггенхайм и ей подобных наносов дряни двадцатого века, выставляемых здесь, – это показать, какими самодовольными, ничтожными, неблагородными, одномерными существами мы стали – привить нам смирение. Другой результат и немислим на фоне этой Пенелопы среди городов, ткущей свои узоры днем и распускающей ночью, без всякого Улисса на горизонте. Одно море.

42.

По-моему, Хэзлитт сказал, что единственной вещью, способной превзойти этот водный город, был бы город, построенный в воздухе. Идея в духе Кальвино, и почему знать, освоение космоса может доразвиться до ее реализации. Пока что, кроме высадки на луне, лучшую память по себе наш век заслужил за то, что не тронул этого города, оставил его в покое. Лично я против даже самого осторожного вмешательства. Кинофестивали и книжные ярмарки, конечно, под стать мерцающей поверхности каналов, их вычурному, неразборчивому почерку под изучающим взглядом сирокко. И конечно, превратить это место в столицу научных исследований тоже приемлемый вариант, особенно учитывая вероятную выгоду от местной фосфорной диеты для любого умственного труда. Такой же соблазн – перенести сюда штаб-квартиру Общего рынка из Брюсселя или Европейский парламент из Страсбурга. Конечно, лучшим решением будет предоставление этому городу и части его окрестностей статуса национального парка. Но хочу заметить, что идея превращения Венеции в музей так же нелепа, как и стремление реанимировать ее, влив свежей крови. Во-первых, то, что считается свежей кровью, всегда оказывается в итоге обычной старой мочой. И во-вторых, этот город не годится в музей, так как сам является

¹⁷ [17] Свершившийся факт (фр.).

произведением искусства, величайшим шедевром, созданным нашим видом. Вы ведь не оживляете картину, тем более статую. Вы оставляете их в покое, оберегаете их от вандалов – орды которых могут включать и вас.

43.

Времена года суть метафоры для наличных континентов, и в зиме всегда есть что-то антарктическое, даже здесь. Город уже не полагается, как прежде, на уголь, теперь есть газ. Великолепные, тромбоподобные дымоходы, напоминающие те средневековые башенки, которые видны на заднем плане любой картины с Мадонной или распятием, бездействуют и постепенно осыпаются с местного горизонта. В результате ты дрожишь и ложишься спать в шерстяных носках, так как батареи соблюдают свои неритмичные циклы даже в отелях. Только алкоголь способен смягчить удар полярной молнии, пронзающей тело при первом шаге на мраморный пол, в тапочках или без, в туфлях или без. Если вечером ты работаешь, то зажигаешь целый парфенон свечей – не ради настроения или света, а из-за их иллюзорного тепла; или перемещаешься на кухню, зажигаешь плиту и закрываешь дверь. Все источает холод, особенно стены. Против окон не возражаешь, потому что знаешь, чего от них ждать. Они, в сущности, просто пропускают холод, в то время как стены его копят. Помню, я как-то провел январь на пятом этаже в доме около церкви Фава. Владельцем квартиры был потомок не кого-нибудь, а Уго Фосколо. Он был лесной инженер или что-то такое и, естественно, уехал по делам службы. Квартира была не такой уж большой: две скудно обставленные комнаты. Зато потолок был исключительно высокий и, соответственно, окна. Их было 6 или 7, поскольку квартира была угловая. В середине второй недели отключилось отопление. В тот раз я был не один, и моя соратница и я тянули жребий, кому спать у стенки. «Почему мне всегда к стенке? – спрашивала она заранее. – Потому что я жертва?» И ее горчично-медовые глаза недоверчиво темнели при очередном проигрыше. Она укутывалась на ночь в розовую фуфайку, шарф, чулки, длинные носки и, сосчитав «uno, due, tre!», прыгала в кровать, словно в темную реку. Которой кровать, видимо, и была для нее – итальянки, римлянки с примесью греческой крови в жилах. «Единственное, с чем я не согласна у Данте, – говорила она, – это с описанием ада. Для меня ад холодный, очень холодный. Я бы оставила круги, но сделала их ледяными, и чтобы температура падала с каждым витком. Ад – это Арктика». И она действительно так считала. Замотав шарфом горло и голову, она напоминала Франческо Кверини на том памятнике в Жардиньо или знаменитый бюст Петрарки (который, в свою очередь, мне кажется вылитым Монтале – вернее, наоборот). Телефона в квартире не было, чаша дымоходных тромбонов маячила в темном небе. Все вместе напоминало Бегство в Египет, где она была и за мать и за младенца, а я за моего тезку и за осла; главное, был январь. «Между Иродом прошлого и фараоном будущего, – говорил я себе. – Между Иродом и фараоном, вот где мы». В конце концов заболел. Холод и сырость справились со мной – вернее, с моими грудными мышцами и нервами, испорченными хирургией. Сердечный калека внутри меня запаниковал, и она усадила меня в парижский поезд, так как мы оба не очень доверяли местным больницам, при всем моем обожании фасада Джованни и Паоло. Вагон был теплый, голова раскалывалась от нитроглицерина, компания берсальеров в купе отмечала начало отпуска с помощью кьянти и орущего транзистора. Я не знал, доберусь ли до Парижа; но на мой страх накладывалось ясное чувство, что если я туда попаду, то скоро – скажем, через год – вернусь в холодное место между Иродом и фараоном. Даже тогда, скрючившись на деревянной скамье купе, я полностью понимал абсурдность этого чувства, но поскольку абсурдность помогала заглянуть дальше страха, я был ей рад. Толчки вагона и воздействие его постоянной вибрации на костяк довершили, видимо, дело, расправив или еще сильнее испортив мои мускулы и т. п. А может быть, просто то, что в вагоне работало отопление. Во всяком случае, до Парижа я добрался, ЭКГ вышла сносная, и я сел на свой самолет в Штаты. Иначе говоря, выжил, чтобы рассказать это – и, вероятно, повторить.

44.

«Италия, – говорила Анна Ахматова, – это сон, который возвращается до конца ваших дней». Впрочем, следует отметить, что сны приходят нерегулярно, а их толкование нагоняет зевоту. Кроме того, если бы сон считался жанром, его главным стилистическим приемом служила бы, несомненно, непоследовательность. По крайней мере, в этом можно видеть оправдание просочившегося на эти страницы. И еще – объяснение того, что в течение всех семнадцати лет я пытался обеспечить повторяемость этого сна, обращаясь с моим сверх-я не менее жестоко, чем с моим бессознательным. Грубо говоря, скорее я возвращался к этому сну, чем наоборот. Само собой, где-то по ходу дела мне пришлось платить за эту жестокость или размывая то, что являлось для меня реальностью, или заставляя сон приобретать смертные черты, как это происходит с душой за время жизни. Я платил обоими способами; причем не имея ничего против, особенно против второго, принимавшего форму Картавенция ¹⁸ (действительна до января 1988) в бумажнике, гнева в этих глазах особого цвета (охочих, начиная с той же даты, до лучших видов), или чего-то столь же окончательного. Реальность страдала сильнее, и часто я пересекал Атлантику на обратном пути с отчетливым чувством, что переезжаю из истории в антропологию. Несмотря на все время, кровь, чернила, деньги и остальное, что я здесь пролил и просадил, я никогда не мог убедительно претендовать, даже в собственных глазах, на то, что приобрел хоть какие-то местные черты, что стал, в сколь угодно мизерном смысле, венецианцем. Слабая улыбка узнавания на лице хозяина гостиницы или трагтории не в счет; и никого не могли обмануть купленные здесь костюмы. Постепенно я стал временным постояльцем в обоих государствах, причем больше огорчала меня моя неспособность убедить сон, что я в нем присутствую. Конечно, к этому неумению не привыкать. Но я полагаю, что можно говорить о верности, если возвращаешься в место любви, год за годом, в несезон, без всяких гарантий ответной любви. Ибо, как любая добродетель, верность стоит чего-то лишь до тех пор, пока она есть дело инстинкта или характера, а не разума. Кроме того, в определенном возрасте и к тому же при определенной специальности, ответная любовь, строго говоря, не обязательна. Любовь есть бескорыстное чувство, улица с односторонним движением. Вот почему можно любить города, архитектуру *per se* ¹⁹, музыку, мертвых поэтов, или, в случае особого темперамента, божество. Ибо любовь есть роман между предметом и его отражением. Это, в конце концов, и приносит тебя в этот город, как прилив приносит воды Адриатики и, дополнительно, Атлантики и Балтики. Во всяком случае, предметы не задают вопросов; пока эта стихия существует, их отражение гарантировано – в форме возвращающегося путешественника или в форме сна, ибо сон есть верность закрытого глаза. Это та надежность, которой лишен человеческий род, хотя мы тоже отчасти вода.

45.

Если бы мир считался жанром, его главным стилистическим приемом служила бы, несомненно, вода. Если этого не происходит, то или потому, что у Всемогущего, кажется, не так много альтернатив, или потому, что сама мысль в своем движении подражает воде. Как и почерк, как и переживания, как кровь. Отражение есть свойство жидких субстанций, и даже в дождливый день можно доказать превосходство своей верности над верностью стекла, встав за ним. Этот город захватывает дух в любую погоду, разнообразие которой, во всяком случае, несколько ограничено. А если мы действительно отчасти синоним воды, которая

¹⁸ [18] Своего рода проездной билет.

¹⁹ [19] Как таковую (лат.).

точный синоним времени, тогда наши чувства к этому городу улучшают будущее, вносят вклад в ту Адриатику или Атлантику времени, которая запасает наши отражения впрок до тех времен, когда нас уже давно не будет. Из них, как из обтрепанных рисунков сепией, время, может быть, сумеет составить, по принципу коллажа, лучшую, чем без них, версию будущего. В этом смысле все мы венецианцы по определению, поскольку там, в своей Адриатике, или Атлантике, или Балтике, время, оно же вода, вяжет или ткёт из наших отражений (они же любовь к этому месту) неповторимые узоры, совсем как иссохшие старухи в черном на здешних островах, навсегда погруженные в свое глазоломное рукоделие. Они, правда, к пятидесяти годам теряют зрение или рассудок, но их заменяют дочери или внучки. Среди рыбачек для Парок всегда найдется вакансия.

46.

Чего местные никогда не делают, это не катаются на гондолах. Начать с того, что катание на гондоле дорого обходится. Только туристу-иностранцу, причем состоятельному, оно по карману. Понятен поэтому средний возраст пассажиров гондолы: семидесятилетний не моргнув глазом отстегнет одну десятую учительского оклада. Вид этих дряхлых Ромео и климактерических Джульетт неизменно вызывает грусть и замешательство, если не ужас. Для молодых, то есть для тех, для кого такая вещь и предназначена, гондола так же недоступна, как пятизвездный отель. Экономика, конечно, отражает демографию: и это вдвойне печально, потому что красота вместо того, чтобы быть обещанием мира, сводится к награде. Это, в скобках замечу, и гонит молодых на природу, к ее даровым, или точнее – дешевым радостям, доступ к которым свободен – то есть избавлен от смысла и таланта, присутствующих в искусстве или в мастерстве. Потрясающим может быть и пейзаж, но фасад Ломбардини говорит тебе, что ты можешь сделать. И один из способов – подлинный – глядеть на такие фасады – это сидя в гондоле: так можно увидеть то, что видит вода. Разумеется, это не имеет ничего общего с распорядком дня местных жителей, которые шастают и носятся по своим повседневным делам, не обращая внимания или даже страдая аллергией на окружающий блеск. Ближе всего к поездке на гондоле они оказываются на пароме через Канале Гранде или везя домой какую-нибудь громоздкую покупку – стулья или стиральную машину. Но ни паромщик, ни лодочник не запоят по такому поводу «O sole mio»²⁰. Возможно, свое безразличие туземцы переняли у самого искусства, безразличного к собственному отражению. Это могло бы служить им последним доводом против гондолы, если бы его нельзя было опровергнуть, предложив ночное катание, на что я однажды согласился.

Ночь была холодная, лунная, тихая. В гондоле нас было пятеро, включая ее владельца, местного инженера, который и греб вместе со своей подругой. Мы виляли и петляли, как угорь, по молчаливому городу, нависшему над нами, пещеристому и пустому, похожему в этот поздний час на широкий, более или менее прямоугольный коралловый риф или на анфиладу необитаемых гротов. Это было необычное ощущение: двигаться по тому, поверх чего привык смотреть, – по каналам; как будто прибавилось еще одно измерение. Наконец, мы выскользнули в Лагуну и взяли курс к Острову мертвых, к Сан-Микеле. Луна, исключительно высокая, словно какое-то умопомрачительно высокое «си», перечеркнутая нотной линейкой облака, почти не освещала водную гладь, и гондола шла абсолютно беззвучно. Было что-то явно эротическое в беззвучном и бесследном ходе ее упругого тела по воде – похожем на скольжение руки по гладкой коже того, кого любишь. Эротическое – из-за отсутствия последствий, из-за бесконечности и почти полной неподвижности кожи, из-за абстрактности ласки. Из-за нас гондола, наверно, стала чуть тяжелее, и вода на миг раздавалась под нами лишь затем, чтобы сразу сомкнуться. И потом, движимая мужчиной и

²⁰ [20] "О мое солнце" (ит.).

женщиной, гондола не была даже мужественной. В сущности, речь шла об эротизме не полов, а стихий, об идеальном союзе их одинаково лакированных поверхностей. Ощущение было среднего рода, почти кровосмесительным, словно при нас брат ласкал сестру или наоборот. Мы обогнули Остров мертвых и направились обратно к Канареджо ²¹. Церкви, я всегда считал, должны стоять открытыми всю ночь; по крайней мере Мадонна делл'Орто-не столько потому, что ночь – самое вероятное время душевных мук, сколько из-за прекрасной Мадонны Беллини с Младенцем. Я хотел высадиться там и взглянуть на картину, на дюйм, отделяющий Ее левую ладонь от подошвы Младенца. Этот дюйм – гораздо меньше! – и отделяет любовь от эротики. А может быть, это и есть предел эротики. Но собор был закрыт, и мы проследовали по тоннелю гротов, по этому плоскому, освещенному луной штреку Пиранезе с редкими искрами электрической руды, к сердцу города. Что ж, теперь я знал, что чувствует вода, ласкаемая водой.

47.

Мы высадились около бетонного ящика отеля Бауер-Грюнвальд, взорванного под конец войны местными партизанами, потому что там располагалось немецкое командование, а затем восстановленного. В качестве бельма на глазу он составляет хорошую пару церкви Сан-Моисе – самому деятельному фасаду в городе. Рядом они смотрятся как Альберт Шпеер, поедающий «pizza caricciosa». Я не бывал ни там, ни там, но знал одного немецкого господина, который останавливался в этом ящичном строении и нашел его очень уютным. Его мать умирала, пока он проводил здесь отпуск, и он ежедневно говорил с ней по телефону. Когда она скончалась, он попросил дирекцию продать ему телефонную трубку. Дирекция отнеслась с пониманием, и трубку включили в счет. Впрочем, он скорее всего был протестант, а Сан-Моисе католическая церковь, не говоря уже о том, что по ночам она закрыта.

48.

Равноудаленное от наших жилищ, это место не хуже любого другого подходило для высадки. Пересечь этот город пешком в любом направлении можно примерно за час. В том случае, разумеется, если ты знаешь дорогу – которую, выбравшись из этой гондолы, я знал. Мы распрощались и разошлись. Я пошел к своему отелю, усталый, пытаюсь глядеть по сторонам, бормоча под нос какие-то дурацкие, Бог знает откуда взявшиеся строки, вроде «Pillage this village» или «This city deserves no pity» ²².

Напоминало раннего Одена, но это был не он. Вдруг захотелось выпить. Я свернул на Сан-Марко в надежде, что «Флориан» еще открыт. Он закрывался; из аркады убрали стулья, на окна водружали деревянные щиты. Короткие переговоры с официантом, который уже переоделся, чтобы идти домой, но которого я немного знал, привели к желаемому результату, и с этим результатом в руке я вышел из-под аркады и окинул взглядом 400 окон пьядцы. Она была абсолютно пустая, ни души. Кругловерхие окна тянулись в своем обычном сумасшедшем порядке, словно геометрические волны. Этот вид всегда напоминал мне римский Колизей, где, по словам одного моего друга, кто-то изобрел арку и не смог остановиться. «Pillage this village, – по-прежнему бубнил я. – «This city deserves...» Туман поглощал пьядцу. Вторжение было тихим, но все равно вторжением. Я видел, как пики и копья молча, но очень быстро, движутся со стороны Лагуны, словно пехота перед тяжелой кавалерией. «Молча и очень быстро», – сказал я себе. Теперь в любую минуту их Король,

²¹ [21] Название моста, набережной и канала в Венеции.

²² [22] "Грабьте это село", "Этот город не заслуживает жалости" (англ.).

Король Туман мог появиться из-за угла во всей своей клубящейся славе. «Молча и очень быстро», – повторил я. Это была строчка Одена, последняя строчка из «Падения Рима», и именно это место было «совсем не здесь». Внезапно я почувствовал, что он сзади, и резко обернулся. Высокое, гладкое окно «Флориана», хорошо освещенное и не прикрытое щитом, горело сквозь клочья тумана. Я подошел к нему и заглянул внутрь. Внутри был 195? год. На красных плюшевых диванах, вокруг мраморного столика с кремлем бутылок и чайников, сидели Уистан Оден со своей самой большой любовью – Честером Калманом, Сесил Дэй Льюис со своей женой и Стивен Спендер со своей. Уистан рассказывал какую-то смешную историю, и все хохотали. Посреди рассказа за окном прошел хорошо сложенный моряк, Честер встал и, не сказав даже «до свидания», пустился по горячему следу. «Я посмотрел на Уистана, – рассказывал мне Стивен годы спустя, – он продолжал смеяться, но в глазах у него стояли слезы». Тут окно потемнело. Король Туман въехал на пьядцу, осадил жеребца и начал разматывать белый тюрбан. Его сапоги были мокры, как и сбруя коня; плащ был усеян тусклыми, близорукими алмазами горящих ламп. Он был так одет, потому что понятия не имел, какой сейчас век, тем более год. С другой стороны, откуда туману знать.

49.

Повторяю: вода равна времени и снабжает красоту ее двойником. Отчасти вода, мы служим красоте на тот же манер. Полируя воду, город улучшает внешность времени, делает будущее прекраснее. Вот в этом его роль во вселенной и состоит. Ибо город покоится, а мы движемся. Слеза тому доказательство. Ибо мы уходим, а красота остается. Ибо мы направляемся к будущему, а красота есть вечное настоящее. Слеза есть попытка задержаться, остаться, слиться с городом. Но это против правил. Слеза есть движение вспять, дань будущего прошлому. Или же она есть результат вычитания большего из меньшего: красоты из человека. То же верно и для любви, ибо и любовь больше того, кто любит.

ноябрь 1989

* Перевод с английского Г. Дашевского

* Перевод заглавия: Набережная неизлечимых (ит.).

Петр Вайль рассказывает о поэте и его любимом городе – Венеции

Декабрьской ночью 1973 года Иосиф Бродский стоял на ступеньках венецианского вокзала "Санта Лючия", впервые приехав в этот город. То, что он чувствовал при этом, навсегда осталось в строчках его эссе – "Набережная неизлечимых".

«Харрис-бар», Fondamenta degli Incurabili – Набережная Неизлечимых

История нашего знакомства с Иосифом Бродским начинается в декабре 1977 года. Я в это время жил в Риме, ожидая оформления документов для переезда в Америку. И вот однажды в русской газете прочитал, что в Венеции проходит бьеннале инакомыслия. Сел на поезд и отправился в Венецию. И здесь имел удовольствие и счастье познакомиться с Синявским, с Бродским и с Галичем, который умер через две недели в Париже. Так вот, приехал на венецианское бьеннале как нормальный советский человек: мне казалось, что для участия в этом мероприятии нужны специальные аккредитации, пропуска и тому подобное. На деле оказалось все иначе. Я пришел в оргкомитет и стал что-то объяснять девушке на своем тогда чудовищном английском, и она отвечала мне примерно на таком же. Но в какой-то момент, взглянув в свои списки, стала сама приветливостью и предупредительностью:

вам, господин Вайль, сказала она, предоставляется отель с полным пансионом на три дня за счет оргкомитета. Это потом выяснилось, что несчастная девица перепутала меня с известным диссидентом Борисом Вайлем, который после выезда из СССР жил в Копенгагене, числился в приглашенных гостях бьеннале и по стечению обстоятельств не смог приехать в Венецию. Но я-то этого не знал. И, что характерно, все произошедшее представлялось мне тогда совершенно естественным: мол, на Западе к людям и должны относиться именно так. Короче говоря, проживая на халяву в Венеции, я активно участвовал в мероприятиях бьеннале, ходил на "круглые столы", посещал экспозиции и выставки, в том числе выставку Олега Целкова, с которым мы познакомились и в первый же вечер изрядно выпили, шляясь по городу.

В один из дней моего счастливого пребывания здесь, в кулуарах бьеннале, я увидел, что какой-то человек пытается пройти, а служитель его не пускает. Служитель говорил по-итальянски, а посетитель – только по-английски. К тому времени я жил уже четыре месяца в Италии и довольно много про себя воображал. Поэтому посчитал себя достаточно знающим язык, чтобы помочь человеку. И, что характерно, помог, о чем-то мы там со служителем договорились. Во всяком случае человека пропустили. Мы познакомились. Его звали Иосиф Бродский. Стихи его я, разумеется, знал, но откуда ж мог знать, как он выглядит! Поговорили. Бродский сказал тогда, что русскому человеку лучше жить если не в России, то в Америке. Потом я много раз вспоминал эти его слова. Вероятно, он имел в виду и многонациональность, и масштаб территории, то, что было похоже на СССР...

А примерно через день Бродский читал свои стихи в какой-то из аудиторий бьеннале. Я впервые слушал его неподражаемое литургическое пение стихов...

Он жил тогда в "Лондре" – отеле на главной набережной Венеции, а его приятельница, американская эссеистка Сюзан Зонтаг, – в отеле "Гритти". Там неподалеку знаменитый "Харрис-бар", где бывала куча знаменитостей, в частности Хемингуэй, а вот теперь и Бродский. Во всяком случае, по его же свидетельству, именно в этом баре он встретил Рождество 77-го года вместе с Сюзан Зонтаг. Наверняка они пили коктейль "Беллини" – фирменное изобретение "Харрис-бара": умелая смесь шампанского и натурального сока белого персика. Хотя Бродский любил и кое-что покрепче – граппу, например. Не исключено, что они ели еще одно изобретение "Харрис-бара", а точнее его хозяина, синьора Чиприани, владельца самого роскошного отеля в Венеции. Там останавливаются голливудские звезды, приезжающие на Венецианские кинофестивали. Так вот, однажды знакомая Чиприани, знаменитая актриса пожаловалась ему на то, что доктор запретил ей есть любое приготовленное мясо. И великодушный Чиприани специально для нее изобрел блюдо, ставшее потом очень популярным. Это тончайше нарезанные листы сырой говядины под оливковым маслом с лимоном и пармезаном. Блюдо получило имя великого венецианского художника Карпаччо. Не исключено, что в Рождество 1977 года Бродский, очень любивший мясо в любых видах, и Сюзан Зонтаг ели карпаччо здесь, в "Харрис-баре".

Вот что известно точно: в один из этих дней она позвонила ему и пригласила посетить вдову известного поэта Эзры Паунда. Паунд был субъектом фашиствующим, сотрудничал с Муссолини. Бродский относился к нему неприязненно, однако на встречу со вдовой, известной итальянской скрипачкой Ольгой Радж, пошел. Я говорю об этом визите только потому, что благодаря ему возникло это легендарное название знаменитого эссе Иосифа – *Fondamenta degli Incurabili* – Набережная Неисцелимых. Вот как у него написано. "С фашистами – молодыми или старыми – я, по-моему, никогда не сталкивался, зато со старыми коммунистами имел дело не раз, и в доме Ольги Радж, с этим бюстом Эзры на полу, почувял тот самый дух. От дома мы пошли налево и через две минуты очутились на *Fondamenta degli Incurabili*".

С этой набережной связана одна загадка. Многие считают, что ее не существует. Действительно, вы нигде не найдете этого названия. И все-таки это неправильно. Посмотрите вот сюда. Видите полустертую надпись на облупившейся стене? Второе слово относительно понятно – Инкурабили. А первое почти стерто. Остался фрагмент, что-то вроде

"атаре". Что бы это значило? Давайте спросим у местных жителей. Вон видите, старик выходит из дома как раз на набережную...

Ага! Он говорит, что "атаре" – это часть слова "затаре", на венецианском диалекте "дзаттере" – "набережная". Но вы послушайте, как он сам называет это место! Именно "фондамента дельи инкурабили". Стало быть, у Бродского все правильно.

Знаете, в Нью-Йорке он дал мне почитать это эссе в рукописи – по-английски. Заглавие же было по-итальянски: *Fondamenta degli Incurabili*. В разговоре Бродский сказал: по-русски будет "Набережная Неизлечимых". (Это потому, что в этом месте когда-то существовал госпиталь, где содержались неизлечимые сифилитики.) Я тогда сказал, что "неисцелимых" звучит лучше "неизлечимых". Он тут же согласился: да, так лучше. Американские издатели попросили его изменить итальянское название, и в английском варианте эссе стало называться *Watermark* (марка глубины). У меня хранится экземпляр этой книги с дарственной надписью: "От неисцелимого Иосифа".

А вот и еще одна достопримечательность. Видите, буквально в ста метрах от Набережной Неисцелимых дом под номером 923. Здесь и по сей день живет Роберт Морган, друг Бродского, которому посвящено это эссе, американский художник, однажды приехавший в Венецию, да так и оставшийся здесь. Он и сейчас пишет свои работы и удачно их продает. Они сошлись с Бродским, как ни странно, на общем интересе к истории мировых войн и работе спецслужб. Почему-то Иосифа это интересовало. Короче, с Морганом им было о чем поговорить. Постепенно они подружились и часто встречались здесь, в кафе "Нико", рядом с подъездом дома Роберта. Кстати, он же привел Иосифа и в ресторанчик "Локанда Монтин", где висит его картина. Это в пяти минутах от дома 923. Вскоре "Монтин" стал одним из любимых заведений Бродского.

Когда я в очередной раз уезжал в Венецию, он спросил меня, где я обычно обедаю. И со свойственным ему вниманием и дотошностью дал три любимых адреса, среди которых был и этот. Еще один – трагтория "Алла Риветта" – неподалеку от Сан-Марко, где подают чикетти – маленькие бутербродики, которые Иосиф обожал. А последний адрес понравился лично мне больше других – харчевня "Маскарон", неподалеку от церкви Санта Мария Формоза. Там на простых деревянных столах бумажные скатерти, с потолка свисают лампочки на плетеных проводах, а в меню всего три-четыре блюда. Не хочешь – не ешь. Зато если захочешь – не пожалеешь. Иосифу нравилась эта непритязательность и отсутствие помпы, мне тоже.

Ну, вот, пожалуй, и все о Набережной Неисцелимых. Посмотрите напоследок через пролив на соседний остров Джудекку. Это, пожалуй, единственное место в Венеции, которое напоминает Неву. Может быть, поэтому оно было дорого ему. Не знаю, он ничего не говорил об этом.

Пансион «Академия», Сан-Пьетро

В первый раз Иосиф приехал в Венецию 35 лет назад, зимой 1973 года. Его встретили и отвезли в его первое венецианское пристанище – пансион «Академия». Об этом у него есть свидетельство в «Набережной Неисцелимых»: «Мы высадились на пристани *Accademia*, попав в плен твердой топографии и соответствующего морального кодекса. После недолгих блужданий по узким переулкам меня доставили в вестибюль отдававшего монастырем пансиона, поцеловали в щеку – скорее как Минотавра, мне показалось, чем как доблестного героя, – и пожелали спокойной ночи... Пару минут я разглядывал мебель, потом завалился спать».

35 лет назад этому пансиону очень повезло: тут поселился человек, который написал в том же 73-м свою знаменитую «Лагуну»:

Три старухи с вязаньем в глубоких креслах
толкуют в холле о муках крестных;

пансион «Академия» вместе со
всей Вселенной плывет к Рождеству под рокот
телевизора...

В 93-м я останавливался здесь и послал Бродскому открытку из этого пансиона, чтобы ему было приятно.

Так же повезло отелю «Лондра» на набережной Скъявони: здесь в 77-м Иосиф написал стихотворение «Сан-Пьетро» об одноименном венецианском островке в районе Каstellо, который ему очень нравился. Там редко бывают туристы, это такие рабочие рыбацкие кварталы Венеции, чем-то напоминающие любимую им Малую Охту в Питере. Тут старые обшарпанные дома с высокими трубами «фумайоли», древний собор Сан-Пьетро с покосившейся колокольней. С половины пятнадцатого до начала девятнадцатого века он, а не Сан-Марко, был кафедральным собором города. Стихотворение Бродского о знаменитом венецианском тумане – «неббия»:

Электричество
продолжает в полдень гореть в таверне.
Плитняк мостовой отливает желтой
жареной рыбой...
За сигаретами вышедший постоялец
возвращается через десять минут к себе
по пробуравленному в тумане
его же туловищем туннелю...

Он любил бродить по этим улочкам, в отдаленной части Венеции, мимо северной стены «Арсенала», от которой виден остров Сан-Микеле, мимо длинной стены госпиталя к площади Сан-Джованни и Паоло: «...Держась больничной стены, почти задевая ее левым плечом и щурясь на солнце, я вдруг понял: я кот. Кот, съевший рыбу. Обратись ко мне кто-нибудь в этот момент, я бы мякнул. Я был абсолютно, животно счастлив».

Венеция – кошачий город, символ ее – лев, семейство кошачьих. Иосиф сам обожал котов, а его жена Мария звала их домашнего кота Миссисиппи и Иосифа – котами. Эй, коты, идите сюда! Что характерно, и тот и другой откликались немедленно. Он любил повторять вслед за Ахматовой, как можно определять людей: «Мандельштам – кошка – кофе» или «Пастернак – собака – чай». Сам он, конечно, был «Мандельштам – кошка – кофе». Да и я, честно говоря, тут ближе к нему. Как и во многом другом.

Нет, не могу сказать, что мы были с Иосифом друзьями. Ведь дружба – это отношение равных. Вот с Довлатовым мы дружили. А в наших отношениях с Иосифом я всегда смотрел снизу вверх. Невозможно было утратить ощущение, что рядом с тобой гениальный человек. Однажды девушка из нашей компании, с которой Бродский был едва знаком, пригласила его на свой день рождения. Это было еще до нобелевки. И он совершенно неожиданно приехал. Человек 20 толпились в одной двадцатиметровой комнате. Причем 19 человек в одной половине и один – Иосиф – в другой. Там, на его половине, был какой-то круг от света лампы на полу, и он задумчиво чертил по нему ногой. Понимаете, никто не решался к нему подойти и заговорить. Потом я набрался смелости, подошел, и мы заговорили об античной поэзии. В любой компании, где он появлялся, мгновенно становилось ясно: произошло нечто значительное. Таков был масштаб этой личности.

Однажды я спросил его: к кому вы относитесь как к старшему? Он поразмышлял и сказал что, пожалуй, только к двум людям: к Чеславу Милошу и к Леве Лосеву. Хотя Лев Лосев был старше его всего на 3 года.

Думаю, что и Мария в полной мере понимала, что ее муж – гениальный поэт. Она увидела и услышала его впервые на его публичном выступлении в Париже. Потом написала

ему письмо. И они долгое время переписывались. Не по электронке (тогда еще это не было распространено), а на бумаге, при помощи конверта, адреса, написанного от руки, и почтового ящика. (Кстати, Иосиф так и не освоил компьютер, пользовался пишущей машинкой до конца жизни.) И вот, когда после этой длительной переписки они встретились, Иосиф влюбился сразу же. Он увез ее в Швецию, и через два месяца они поженились в Стокгольме. Она потрясающе красива, такая мадонна Беллини с великолепными тяжелыми волосами. Дома они с Иосифом говорили на английском, хотя Мария знала русский (мать ее из рода Трубецких-Барятинских, а отец – итальянец; Винченцо Соццани был высокопоставленным управляющим в компании «Пирелли»). Когда у Бродских бывали гости из России, они говорили по-русски. И только если разговор касался сложным тем, Мария извинялась и переходила на английский, так ей было легче. Она прекрасно образована, окончила Венецианскую консерваторию, хорошо знает музыку. Однажды мы заговорили об Альбане Берге, и я упомянул, между прочим, даты его рождения и смерти. Иосиф переспросил: вы что, хотите сказать, что знаете даты жизни Альбана Берга? Этого просто не может быть! Мария, ты слышишь, он утверждает, что помнит даты рождения и смерти Альбана Берга. Проверь, пожалуйста!

Это было для него характерно. Он не хотел мириться с тем, что кто-то может знать то, чего он не знает. Сам-то Иосиф был феноменально образованным и осведомленным человеком, не чета мне. Но с ним бывало такое: не любил, если кто-то о чем-то знал больше. Однажды мы поспорили о Чарли Паркере. Бродский утверждал, что Паркер играл на тенор-саксофоне, но я-то знал точно, что на альте. Короче, поспорили на бутылку хорошего вина. Через некоторое время я принес ему доказательства, но бутылку хрен получил. Понятное дело, он не проигрыша пожалел: вообще был очень щедрым и широким человеком, обожал делать подарки, и не просто, а именно дорогие подарки. Но ту историю он как-то замотал: не любил проигрывать.

Палаццо Марчелло

Это дворец на Рио де Верона принадлежит графу Джироламо Марчелло, представителю одного из самых видных патрицианских родов Венеции. У него в предках дож и два композитора, именем одного из которых – Бенедетто Марчелло – названа Венецианская консерватория. Здесь Иосиф Бродский останавливался в последние годы своих приездов в Венецию. С Марчелло его познакомила Мария, они подружились. Судя по всему, Иосифу было хорошо здесь. По его рекомендации и мы с женой однажды встретились с графом и были званы в гости. Это было сильным впечатлением, поскольку мы оказались внутри настоящего венецианского палаццо. На первом этаже – он нежилой – стояла кабина для гондолы, «фельце». По венецианской традиции самой лодкой владеет гондольер, а знатному человеку принадлежит вот эта кабинка, на которой изображены геральдические знаки семьи и рода.

Марчелло указал нам на портрет своего далекого предка на стене: это, мол, копия, а подлинник – в галерее Уффици, поскольку автор – Тициан. Одна комната на верхних этажах расписана фресками. Он махнул рукой: чепуха, всего лишь восемнадцатый век. В библиотеке полки с архивами разделены на две части: те, что «до Наполеона», и те, что «после». Я держал в руках «Божественную комедию» 1484 года издания и «Декамерон» 1527 года. Там были пометки марчелловского предка, читателя восемнадцатого века.

Одно из последних стихотворений Бродского – «С натуры» – написано здесь и посвящено владельцу дома Джироламо Марчелло:

Здесь, где столько
пролито семени, слез восторга
и вина, в переулке земного рая
вечером я стою, вбирая

сильно скукожившейся резиной
легких чистый осеннее-зимний,
розовый от черепичных кровель
местный воздух, которым вдоволь
не надышишься, особенно напоследок!
пахнущий освобождением клеток
от времени.

Это уже не просто предчувствие смерти, это знание о ней.

Сан-Микеле

Все говорят, что он не жалел себя: две операции на сердце, а курить не бросил и от крепкого кофе не отказался. У меня на этот счет есть свое соображение. Понимаете, человек, который однажды нашел в себе силы встать из-за парты в восьмом классе и навсегда уйти из школы; человек, который позволил себе быть зависимым только от своего дарования и ни от кого и ни от чего больше; человек с действительно редчайшим чувством свободы – такой человек не хотел и не мог себе позволить зависеть даже от собственного тела, от его недугов и немощей. Он предпочел не подчиниться и тут.

Место для захоронения Иосифа выбрала Мария. Я имею в виду не только кладбище на острове Сан-Микеле, но и саму географическую точку – Венецию. Это как раз на полпути между Россией, Родиной (Бродский всегда говорил «Отечество»), и Америкой, давшей ему приют, когда Родина прогнала. Ну и потом, он действительно любил этот город. Больше всех городов на земле.

Он ведь не был по-настоящему захоронен в Нью-Йорке, где умер 28 января 1996 года. На кладбище в Верхнем Манхэттене была ниша в стене, куда вдвинули гроб и закрыли плитой. Через полтора года гроб опустили в землю, здесь, на Сан-Микеле. У Иосифа тут замечательное соседство, через ограду – Дягилев, Стравинский. На табличке с указателями направления к их могилам я тогда от руки написал фломастером и имя Бродского. Эту надпись все время подновляют приходящие к его могиле.

К церемонии перезахоронения Иосифа на Сан-Микеле съехалось много народу, его друзей, близких. Президент Ельцин прислал роскошный венок. Правда, какой-то идиот из совсем уж перегретых антисоветчиков переложил этот венок на могилу Эзры Паунда.

В тот вечер в июне 97-го мы все собрались в палаццо Мочениго на Большом канале, которое тогда арендовали американские друзья Марии. И это был замечательный вечер, поскольку боль потери уже успела приглушиться, и все просто общались, выпивали, вели себя так, словно он вышел в соседнюю комнату. Кстати, о комнатах. Этот вечер проходил как раз в тех апартаментах, где жил когда-то Байрон.

Через два дня мы с Лосевым, Алешковским и Барышниковым приехали на Сан-Микеле к его могиле. Еще раз помянули его, выпили... Миша взял метлу и аккуратно все подмел вокруг. Такая картинка: Барышников с метлой у могилы Бродского...

А надгробие сделал хороший знакомый Иосифа еще по Нью-Йорку, художник Володя Радунский, они жили по соседству, их дети играли вместе (сейчас Володя живет в Риме). Получилось скромное, изящное, в античном стиле надгробие с короткой надписью на лицевой стороне на русском и английском:

Иосиф Бродский Joseph Brodsky 24 мая 1940 г. – 28 января
1996 г.

Правда, на обратной стороне есть еще одна надпись по латыни – цитата из его любимого Проперция:

Letum non omnia finit

– со смертью все не кончается.

*Беседу записал корреспондент Юрий Лепский, полный текст: "Российская газета" –
Центральный выпуск №4573 от 28 января 2008 г*